

Степан Гаврилов

Рождённый проворным

Повесть

21 июня
10:03

Обычно я ей говорил: после того, как ты повесишь трубку, поставь песню Born Slippy лондонских электронщиков Underworld, слушай внимательно. На седьмой минуте, после слов про грязного обдолбанного мальчика-ангела и после фразы «сидя на корточках и писая в отверстие трубы на станции Тоттенхем Корт Роуд», там, где вокал Карла Хайда утихнет и начнется самое дикое техно на свете, я позвоню в твою дверь. Я говорил так и прятал мобилу в карман.

Потом закуривал и садился на велик, педали крутил почти не торопясь, приостанавливался ровно на середине пути, чтобы закурить вторую. И ровно в тот момент, когда в ее колонках звучало в последний раз: «She smiled at you bo-o-o-y», я звонил в домофон. Пока играл длинный проигрыш, почти полностью состоявший из электронной секвенции, я поднимал велосипед на площадку между первым и вторым этажом, оставлял его под почтовыми ящиками и мигом преодолевал еще несколько ступенек вверх. Она прыгала на меня, едва я успевал расшнуровывать кеды. Снять их она мне не давала, никак не разжимала свои бледные, гладкие, сильные ноги, обхватывающие меня почти смертельно чуть выше ремня.

Когда мне все-таки удавалось снять кеды — сначала левый об правый, потом правый об разутую левую ногу, песня Born Slippy — «Рождённый проворным» — уже утихала. Трахаться под саундтрек из фильма Trainspotting нам казалось невероятной пошлостью: до сих пор уверен, что так оно и есть. Еще минут через десять в ней будто бы что-то взрывалось, будто бы все ее органы на долю секунды останавливались, а потом лопались от внутреннего напряжения, как в тех эффектных слоумушн-съёмках. Она задерживала этот всплеск невероятной силы в себе: мужественно, не издавая ни звука, будто бы терпя невыносимую боль, которую нельзя разделить ни с кем. Черные кудри ее вздрагивали и падали на глаза. Лицо моментально покрывалось неровными красными пятнами. Пятна ложились на шею и на грудь вплоть до сосков: как если бы ее кожа была бледным, полупрозрачным, замутненным оргстеклом, на которое изнутри попадали сгустки крови от разорвавшихся в мгновение органов.

Степан Гаврилов родился в г. Миассе Челябинской области в 1990 году. Работал строителем, разнорабочим, рекламным агентом, радиоведущим, библиотекарем, журналистом, редактором. В настоящее время живет в Челябинске и Санкт-Петербурге. Печатался в «Знамени» (роман «Опыты бесприютного неба», 2018). Предыдущая публикация в «ДН» — 2019, № 10.

Потом она открывала глаза и роняла голову мне на грудь. Рождённая проворной, она спускалась ниже, чтобы потом оставить на моем животе длинный и влажный след.

Когда она шла в душ, я принимался рассматривать газетные и журнальные вырезки, накиданные на полу всегда как попало.

Так каждый день и повторялось. Мне кажется, что прошло не меньше года, хотя знакомы так близко мы были всего пару месяцев: начиная с горячего мая. Все было отрепетировано до мельчайших деталей: всегда я звонил ровно на тот момент, когда в колонках звучало: «She smiled at you bo-o-o-u» в последний раз, всегда след на моем животе оставался примерно одной консистенции и формы, никуда не девался беспорядок на полу — это ее брат-аутист, которого никто из нашей компании никогда не видел, каждый вечер делал новые вырезки и коллажи.

Так всегда и повторялось до мелочей, по кругу. Но только не сегодня. Сегодня песня доиграет до конца, но меня еще не будет.

На этом берегу

07:19

Бетонные стены завода по ту сторону леса совсем побелели, и мелкая паутина сырых трещин на них в этом свежем свете исчезла. Все казалось немного расфокусированным, как бы скользящим мимо своей плоти и тяжести. Повсюду завибрировало — кузнечики и, может быть, цикады. Еще не стояли в воздухе дымка и густота, которые лягут плотным грузом до середины следующей ночи совсем скоро, поэтому дышалось хорошо, легко. И курилось тоже здорово. Табак в папиросе казался Гере Хартбрейкеру, красавцу и здоровяку, особенно душистым.

Он остановил свой ржаво-баклажановый автомобиль марки «жигули двадцать один ноль пять» возле голой опушки с этой стороны леса, неподалеку от завода. Опушка полулежала на склоне холма. Гера, выйдя из тачки, тут же пошел осматривать решетку двигателя. Расчищая пальцами налипший к решетке горячий пластилин, состоящий из пыльцы трав, грязи, всякой другой био- и не очень био- массы серо-коричневого цвета, он искал кое-что другое. Он искал один цвет — васильковый.

Это все потому, что васильковые бабочки, в великом множестве вившиеся возле тонкого ручья, который Гера недавно пересекал вброд, замороженные собственным блаженством, никак не хотели понять, что на свете существуют еще и такие вещи, как, например, старые ржаво-баклажановые «жигули», что эти «жигули», будь они неладны, могут протаранить тебя, когда ты пребываешь на пике блаженства в своем пасторальном экстазе. И теперь Гера вычищал решетку двигателя, размазывая пахнущую мазутом, глиной и теплом субстанцию. Но ни одного василькового крылышка не оказалось.

— Фух! — прогудел Гера, выплюнул хибарик и весело принялся распутывать тугие жгуты, придерживающие здоровый, восьмидесяти, кажется, килограммовый бензиновый генератор, бережно погруженный в нутро багажника.

Багажник машины от размеров этой внушительной штуковины не закрывался и затруднял обзор назад, но Геру это не смущало — в дороге, если надо было, он отлично ориентировался по боковым зеркалам. Да и зачем вообще смотреть назад?

Тут Гера немного замер, припоминая, что при переезде через ручей он, пытаясь объехать порхающих бабочек, резко повернул руль и машину неслабо бахнуло днищем о валун. Но вспомнив, что ни одно живое существо от этого не пострадало, снова принялся за генератор.

Гере удалось поднять штуковину со второго раза. Мышцы его при этом напряглись до предела, жилы вытянулись так, что чуть не прорезали кожу. Жигули, освободившись от груза, хрустнули разогнувшимися рессорами, будто артрозными коленями, и

словно бы выдохнули. Без особого героизма пронёся генератор несколько шагов, Гера поставил его в центр поляны и смахнул ладонью слабую росу со старого глянца бензобака. Тут на зеленом корпусе генератора, там, где бак прячется за чернотой каркаса, он увидел нечто васильковое, совсем-совсем матовое.

— Хм-м... — простонал он задумчиво.

Гера аккуратно протянул здоровенную ладонь и аккуратно снял с зеленого глянца одно-единственное васильковое крылышко: со слабой, белого цвета зигзагообразной обводкой почти по самому краю.

Лицо Геры исказилось. Другой рукой он нащупал в кармане пачку беломора и, чуть прижав картон, так, чтобы пачка смялась и приоткрылась, бросил крылышко в пахнущую влажным табаком темноту.

Гера еще раз обследовал машину — теперь уже не только решетку. На фарах и дверях подтеки от разбившегося на холодные жемчужные брызги ручейка уже высохали. Но крылышек не было. Порядок. И, тяжело выдохнув, Гера угрюмо принялся выгружать оставшийся багаж, заполнявший весь салон «жигулей двадцать один ноль пять». Там было:

две колонки по сто ватт, они будут отвечать сегодня за середину; масса проводов (Герин любимый — грязно-янтарный, с тонкими серебристыми прожилками внутри); микшерный пульт на 16 каналов (первый не работает, его залили ликером «Бейлиз»); лимитер аналоговый; пластиковые стаканчики на 0,25 мл — 15 штук; катушечный удлинитель питания на 220 вольт; небольшой деревянный ящик от противогазов, в котором, закутанный в тряпье, лежал винил (перечислять наименования нет времени, сказать можно лишь то, что было пластинок не меньше трех десятков, плюс еще штук десять миньонов); далее шла пятилитрушка с казахстанским коньяком, великолепным в своей мерзости пойлом, который называли не иначе как «стиратель» за его свойство напрочь вычищать содержимое кратковременной памяти; потом — барабан бонго (один побольше — мужской, а другой поменьше — женский).

Кстати, о женщинах — на полу завалился мятый женский чулок.

Гера улыбнулся, вспоминая, как чулок попал к нему в автомобиль, даже будто разволновался и вытащил пачку папирос. Но вместо беломорины на ладонь ему упало васильковое крылышко. Гера, тут же погрузившись, отправил крыло обратно во мрак пачки.

Вскоре к жужжанию многочисленных насекомых, совсем разошедшихся к тому моменту, прибавился шум — тархтели движки легковушек. Сначала слабо, то пропадая, то появляясь за холмами, потом ближе и ближе.

Из подъехавших авто повыскакивала вся мятая от такого раннего подъема бригада: Сеня Сантьяго — маленький, смуглый, кудрявый, главный организатор всего грядущего замеса; Антон Солнце — хайратый диск-жокей и барыга хорошими вещами; Дэн — сын майора ФСКН, маленький, похожий на Элайджа Вуда барабанщик; Малыш — бугай, проигрывающий в размерах только хартбрейкеру Гере; Дятел — наш личный панк; а также прочая братва, среди которой можно выделить разве что художника по имени Разведчик, который всегда круто танцевал, зажигая народ, да еще шуплого прыщавого упыря по имени Сгуха — его брали на тусычи только потому, что он барыжил вещами плохими, но, как думалось в то время, необходимыми для того, чтобы вечеринка прошла успешно.

У всех на лицах поигрывало не то детское, не то азартное что-то. И по этому играющему чему-то читалась всеобщая готовность встретить сегодня Солнцестояние должным образом, то есть на ура.

Распив бутылку паленого вискаря, который притащил Малыш, и тут же схлопотав не столько свежее опьянение, сколько мгновенное похмелье, банда довытаскивала из машин прочий аппарат и акустику, а затем дружно принялась коммутировать и заводить всю эту машинерию... Каждая вещь была на своем месте.

Вроде бы.

10:06

Я увидел его сутулую фигуру еще издалека. Если бы движение в нашем городе было организовано по-другому, если бы было больше пространства для маневра, ну и если я бы был более артистичным человеком, если бы мог искусно и без стеснения изображать сложный комплекс чувств и эмоций, например: «Ух ты, да я ж забыл выключить утюг!», то я бы смог резко развернуться и уехать.

Но тогда не было бы всей этой истории. А она должна была случиться.

08:50

— Дети мои! Всё во спасение, всё во спасение! Это я вам как сын священника говорю! И неисповедимы пути Господни... Но ведь это ж надо было так! Один единственный бензонасос у этого пылесоса, сосущего энергию из космических глубин, и тот — пропал! Где, я спрашиваю? — кричал Сеня Сантьяго. — Суета суёт, я больше не могу!

— Су-ет, — тихо поправил его Солнце.

— Что?

— «Суета суёт», по идее. Это из Екклесиаста.

— Антошенька, поверь, в данный момент она действительно су-ёт.

Остальная братва тихо курила. Закурить потянулся вместе со всеми и Гера. Привычно вытряхнув папиросу на ладонь, он отвлекся от созерцания небесного эфира и посмотрел туда, где папироса задела пальцы, а рядом с ней еще что-то коснулось ладони.

— Г! — гыкнул он.

Народ дружно посмотрел на Хартбрейкера. Тот сжимал пальцами какой-то лоскуток и старательно показывал его друзьям.

— Г! — повторил Гера.

Сантьяго ненадолго замер, присматриваясь, а потом в отчаянии мотнул кудрями.

— Гера, дорогой! — крикнул он. — Еще ты тут. Че это?

Сантьяго бросил окурок и в два шага преодолел поляну.

— Крыло какое-то. Бабочки что ли? — шурясь, простонал Сеня.

Народ стал подходить к Гере, разглядывая матовое, васильковое крылышко с тонким зигзагообразным кантиком почти по самому краю.

— Люблю я тебя, дорогой мой, но нас это не спасет. Ты, кстати, зачем скотинку замучил?

Гера нахмурился, а потом громко прогудел, показывая на машину:

— Жах!

Сантьяго понимающе кивнул:

— Да уж понимаю, мы тоже чуть не встали в том ручье, когда сюда ехали.

Он развернулся к народу и чуть ли не вскинул руки:

— Так, братва, у кого есть в гараже какие-нибудь детали, какие-нибудь старые запчасти и прочие артефакты?

Народ задумчиво зачесал подбородки.

— Жа-ах! — еще громче крикнул Гера.

— Гера, я люблю тебя, люблю гетеросексуально, как брат любит брата, как друг — друга, как солдат — солдата, как спартанец — спартанца... Хотя нет, это плохая аналогия. Короче, люблю я тебя и понимаю, но тебе надо поработать над своим вокабулятором... Вокабулярием. Я понял, понял, что ты имеешь в виду. Твой авто на полной скорости протаранил невинную оргию бабочек, и одна из них теперь лишена конечности. Но если бы это была единственная проблема в мире, то мы были бы счастливы. А тут — волнения в братской славянской республике; грядущий конец

света, согласно календарю мая; анархистов вон без суда и следствия сажают; радикальные феминистки становятся все более радикальными и популярными; вдобавок, и это самое печальное, — отсутствующий бензонасос на нашем генераторе.

И Сантьяго присел на корточки, нахмурился и опять принялся разглядывать генератор. За массивным баком, примерно там, где Гера недавно нашел крылышко, торчали две промасленные трубки. Некогда их соединял маленький, мускулистый механизм — бензонасос. Сантьяго смотрел на это добро сосредоточенно, со знанием дела, хотя о существовании этой детали, да и самого слова «бензонасос» он узнал всего несколько минут назад, когда братва безуспешно пыталась запустить динамо. И хоть Сеня владел этой машиной год, обо всей ее хитрой механике он столь точных представлений не имел. Он вообще не углублялся в детали, пока они не терялись или не вылетали из рук, как последние джойнты, подхваченные ветром.

Сантьяго погладил бак генератора, на котором под государственным знаком качества «Сделано в СССР» красовалась надпись «ЗУ-2», и почти шепотом проговорил:

— Нет какого-то сраного маленького бензонасоса, а что это значит? Это значит, что празднику Солнцестояния не состояться. Празднику, к которому мы, братва, столько готовились. Это значит не прозвучит сегодня священное техно во имя матушки-земли, и тогда... Да и фиг бы с ним, с техно, но ведь я тогда не...

Но он не успел договорить. Кусты на краю поляны раздвинулись, и к бригаде шагнул высокий, худой, как узбекский дутар, человек. В руках он держал огромную связку кислицы, пучок поменьше выглядывал из кармана его жилетки, а один стебелек торчал в его белых, больших и ровных, как клавиши пианино, зубах. И улыбался этот человек так, будто бы иного выражения лица не предусмотрено строением его необыкновенного черепа.

10:07

Но вот прошло чуть больше часа, и это же человек уже стоял передо мной посреди городского проспекта, пожевывая свою кислицу и, как всегда, улыбаясь. Зовут его Нат. Месяц назад возле дверей клуба, после того как мы оттащили наевшегося транквилизаторов Малыша в тачку, он... Да что там, он точно так же стоял и улыбался, потому что Нат никогда не умел делать по-другому. Даже несмотря на то, что иногда причин улыбаться не было совсем.

Я спросил у него: «Как дела?» — и закурил. Мы не виделись с того самого вечера. Мне бы побыстрее узнать, как у него там эти дела, и двигать туда, где меня уже шесть минут как ждут.

— Будешь кислицу? — спросил он в ответ и протянул мне несколько влажных стебельков.

09:45

— У него не получится. Он же святой, как мой отец, — отпив из канистры коньяка, прокряхтел Сантьяго, а потом сразу поперхнулся, поняв двусмысленность сказанного.

Он заметался по поляне, кого-то выискивая, и, таки отыскав могучую фигуру за сосной неподалеку, громко проорал:

— По коням!

Гера послушно вылез из-за сосны, на ходу застегивая ширинку.

Антон Солнце тем временем раскладывал свой винил по боксам, устанавливал на небольшой столик вертаки и, тихо улыбаясь, поглядывал на тонкий плед, расстеленный на траве. На пледе неизвестный художник изобразил каноничный сюжет — искушение Будды. Тихо медитирующий Гаутама был на самом краю

Просветления и потому не открывал глаза и не поглядывал на все то, что творилось вокруг него. Не смотрел он даже на соблазнительных дев, дочерей кровожадного демона Мара.

Гера, тоже поглядев на эту картину, подумал о чем-то своем и завел «жигули», Сантьяго тут же плюхнулся в пассажирское, но, что-то вспомнив, выбежал на поляну, захватил канистру со стирателем и, вернувшись в машину, махнул рулевому.

10:16

Представьте себе около сотни людей всех возрастов, занятий и полов, собравшихся ночью в лесу. Представьте много неона и светодиодов. Их молодое мясо, источающее терпкий мускус, исчезает и появляется во вспышках стробоскопов. Музыка — преимущественно техно, в перерывах — классика психоделики 60-х проходит сквозь тела, разбивается о сосны в лесу, тонет в ночи. Все-все это, слившееся в единый организм или, лучше сказать, в машину, гремит, играет, разговаривает, смеется, вдыхает и выдыхает дым, потом искрит или, напротив, ловит бэд, а после, на рассвете, срывается в панельные дома, где до полудня эякулирует, пока наконец не валится от усталости и похмелья в объятия друг друга. Мускуса не слышно в еловом лесу, наполненном другими запахами — запахами природной плаценты, запахами протоплазмы, терпким или сладким дымом.

Все это превращается в единую машину ночи, но только при одном условии: если работает ее сердце — мощный армейский генератор «ЗУ-2». Если нет — то ничего и нет. Что же может жить без сердца?

— У них же на протяжении трех лет этот генератор исправно робил, в чем же причина? — Я курил уже третью, не в силах остановиться.

Нат улыбнулся еще шире, тихо помолчал и ответил:

— Сушая мелочь. Ее нужно отыскать.

Произнес он это так, словно «сушая мелочь» — это секрет, открывающий путь ко спасению. Впрочем, так отчасти и было.

— Ну ладно, — ответил я, докуривая, — удачи в поисках.

А сам нажал на педаль велика и медленно покатился. Там, в квартире на Олимпийской, уже доиграл до конца великий трек *Born Sleepy*.

— Вообще-то... — услышал я сквозь шелест колес, — я за тобой. Нам без тебя не справиться.

Это еще почему? Все в городе знают, что другого такого рукожопого человека, как я, не найти. И такого же равнодушного к технике во всем ее многообразном виде. Из всего, что имеет греческий корень «техно», я люблю, собственно говоря, только само техно. А в последнее время, так только тот момент, когда оно, это техно, затихает.

— Дядюшка Коршун, — сказал Нат, чуть покашляв.

Но я еще раз нажал на педаль. Конец связи! Даже слышать не хочу об этом. Еще чего придумали. Дядюшка Коршун!

Впереди — долгий летний день, пропахший потом и другими жидкостями. Грязный обдолбанный мальчик-ангел, дёти намб энжел бой.

10:17

Давно замечено, что в самом начале лета трагедии куда больше, чем, например, во время золотой осени, когда деревья грустно скидывают свою листву и все такое прочее. Там не то чтобы тоска увядания, там ты уже смирился с неизбежностью и просто спокойно себе катишься в зиму. А вот в начале лета листва и тепло вызывают недоумение и чувство неловкости, будто бы ты этого не заслужил. Ты еще совсем

не освоился и ходишь в лете как по чужой незнакомой квартире, в которой проснулся одним утром с похмелья. А лето ведь не квартира, оно не ждет — и катится, и уходит с каждой минутой.

Вот так я и использую свои летние дни — не действую. Я трачу время на любовь и ожидание любви. На персональные техно-хиты и короткие поездки на велике, на сумерки, на разную другую ерунду. Но даже этим мне не дают заняться, как будто это роскошь несусветная, доставшаяся мне несправедливо и не по праву. Мой единственный выход — безропотно просрать это лето, как и почти с десяток других за спиной и бог весть сколько впереди.

Короче, дальше все было довольно предсказуемо в общей логике событий, но весьма неожиданно для меня в тот момент. Только я прощаюсь с Натом, нажимаю на педаль и весело качусь по разбитому асфальту с влажными темными прожилками трещин туда, где меня ждет маленькая женщина с черными кудрями и сильными бледными ногами, только я успеваю выдохнуть и расслабиться, как путь мне преграждает ржаво-баклажановый автомобиль марки «жигули двадцать один ноль пять». За рулем, пыхая папиросой «Беломор», улыбается красавец и здоровяк, хартбрейкер Гера.

Черной молнией устремляется ко мне с пассажирского Сеня Сантьяго. Пока он произносит все ниженаписанное, я с велосипедом еще не успеваю потерять равновесие и завалиться направо или налево. Итак, Сантьяго тараторит:

— Стоп, стоп, стоп! День велосипеда закончился, слезаем. Далее по планам — пересадка на транспорт посерьезнее. Ты нам нужен, как нужен всему человечеству! Как в фильме!

— В каком таком фильме?

— Допустим, про Годзиллу.

Гера в этот момент нажимает пару раз на гашетку. Машинка, стоя на месте, довольно урчит.

— Пока ты едешь навстречу приключениям, у кого-то приключения обламываются, — продолжает Сантьяго. — Мы говорим о непереносимости запланированного. Незапланированности переноса. Так невозможно терпеть голод, а прежде всего — голод плоти. Так невозможно отрицать очевидное: самый длинный в году день и самую короткую ночь.

Наконец я потерял равновесие и коснулся правой ногой асфальта. Что-то подсказало мне: «Это проигрыш».

— Есть законы, которые можно обойти: римское право, армейская обязанность, законы термодинамики, да-да, закон отсутствия закона, разные другие глупости про бутерброды маслом вниз. Есть законы, которые лучше не обходить: закон компенсации кайфа, например. А есть законы, которые невозможно обойти. Закон отсутствия бензонасоса. Слышал о таком?

Мой велосипед плавно взмыл в воздух. Он проплыл сквозь древний дым папиросы и отправился в багажник «жигуля». Из сизовато-желтого облака улыбнулся Гера.

— Я знал, что он, — Сантьяго замахал в сторону Ната, — не справится, поэтому я здесь. Ты нужен нам как никто. Без тебя не будет летнего Солнцестояния. И черт бы побрал все эти коловороты и неославянство! Я, как достойный представитель восточного народа, вертел эти коловороты на своем жилистом, мосластом, черном...

— Сантьяго, дорогой, — умоляюще проскулил я, доставая велик из нутра багажника. — Ничем не могу помочь.

— Мы сами себе не можем помочь. Нам уже никто не поможет.

— Вот тем более. Где вы его посеяли, этот бензонасос? — спросил я в достойном отчаянии.

— Гера?

— Ф, — махнул Гера куда-то в сторону гор.

— Вон там и ищите.

Гера одной рукой, легко и непринужденно, но безумно крепко сжал мой велик ровно посередине руля. Бросив попытки освободить своего коня, я кинулся к багажнику и начал там рыться:

— В багажнике! Бензонасос улетел в багажник, надо поискать.

Но внутри я обнаружил только женский чулок, канистру масла, водный бульбулятор весь в саже, рассыпанные зубочистки, наклейки с Power Rangers. Неуловимый запах бензина свидетельствовал о недавнем наличии внутри багажника бензогенератора.

Достойное отчаяние закончилось. Я посмотрел на Сантьяго. Он улыбнулся как тот, кто вдруг почувствовал свою власть:

— Мы только туда и обратно. Едем до Печек, потом забросим тебя вот прямо сюда же. Слово мастера кунг-фу.

Я промолчал.

— О'кей, слово сына священника! — Сантьяго поднял руки к небу.

— Да я вряд ли помогу, хлопцы, — ответил я и кинулся к велосипеду.

Гера схватил руль.

— Можно я своим ходом? — спросил я на всякий случай.

— Извольте вас подвезти все же? — с неподдельной вежливостью спросил Сантьяго и встряхнул кудрями в изысканном реверансе.

Он распахнул ржаво-баклажановую дверь с грязными подтеками внизу. Я уже хотел сделать шаг к машине, но тут за моей спиной дверью клацнул рыже-зеленый троллейбус. Я сделал сначала шаг назад, затем два шага назад, потом развернулся, прыгнул и оказался в брюхе троллейбуса. Тот, лениво толкаясь, снова клацнул дверьми. Теперь уже прямо перед носом Геры, Ната и Сантьяго. Съели?

Выдыхая, я отдал за проезд кондукторше. Тут яростная вибрация разорвала мое спокойствие. Спокойно, всего лишь телефон. Она. Born Sleepy доиграла до конца. Впервые.

— Я уже подъезжаю. Сегодня на троллейбусе. Велосипед... Сломался, в общем, велосипед.

— Не стоит. Мне только что звонил Сеня Сантьяго. Он сегодня устраивает Солнцестояние. У меня нет шмоток. Я отправляюсь в магазин, заодно и братика заберу из интерната. Увидимся вечером.

Сначала тишина повисла в трубке, потом — в троллейбусе. Он встал на остановке и зловеще клацнул дверьми.

На остановке Сантьяго, опершись на кузов жигулей, с папирой во рту, в своих черных кудрях смотрелся латиносом-гэнгстой, который прекратил убивать, потому что ударился в религию и в этой своей религиозности стал не менее яростным. Сложив руки на груди, он поглядывал, как я с позором вытекаю из троллейбуса.

— Любой, кто помогает семье, делает это по своей воле. С чистым сердцем. Это золотое правило. Именно поэтому семья никогда не забывает своего благодетеля.

Я выкинул кулак, чтобы ударить Сантьяго в худосочный живот, но затормозил ровно за сантиметр от его солнечного сплетения. Согнувшись в рефлексе, он уронил папиросу на асфальт.

— Я бы и сам ушел. Но еще не время, — пожевывая оставшийся стебелек кислицы, мягко сказал мне Нат, когда я недовольно уселся на заднее сиденье.

— Как понимать, не время? — отпив стирателя, повернулся к нему с переднего пассажирского Сантьяго.

— Вот прямо чувю, что ничем хорошим это не закончится, — сердито ответил я и не менее сердито хлопнул ржаво-баклажановой дверью.

10:45

Всю дорогу Сантьяго хлестал из пятилитровой пластиковой бутылки стиратель. Заедал он его огромным лимоном, который хранился в пыльном бардачке «жигулей». От нечего делать и я пару раз приложился к пятилитрушке.

Мы проехали весь город и покатались по ровной лесной дороге. Сразу за лесом лежала деревня Печки, а неподалеку от Печек текла река, за которой и жил мой дядюшка, прозванный пацанами дядюшкой Коршуном. Именно так его за глаза и называли — дядюшка Коршун.

Мой дядюшка не был бы собой, если бы не поселился весьма оригинально — в отдалении от деревеньки, а именно — за речкой Ильменкой, в небольшом домике. Добраться до домика — дело нетрудное. Встал на навесной хлипкий мостик, три минуты страха, и ты на месте. Вот только мост по весне то и дело смывало. Был и другой вариант: дать доброго крюка и, переехав Ильменку по дамбе в десятке километров от Печек, прошагать еще дюжину верст по лесу. Так уж вышло, что я не любитель путешествий и приключений, потому с дядюшкой виделись мы нечасто.

Самого же его трудности — такие как, например, отсутствие моста — не страшили ничуть. Ходили слухи, что дамам дядюшки ну очень нравилась вся эта романтика, и дамы ходили — или, может, плавали брассом? — к дядюшке в великом множестве. Он всегда был охоч до женщин, и с самого детства я пускал слюни на его спутниц, с которыми он изредка заходил к нам в гости.

В целом дядюшка был хорошим, толковым мужиком, но с таким сложным и тяжелым характером, будто бы его, этот характер, отмачивали в солярке. Прошлым летом мы тоже ездили к нему, отвозили на починку диффузоры от колонок. Я согласился этим обалдуям помочь, и дядя все сделал как надо, даже денег с парней не взял. Все могло бы закончиться хорошо, я уже стоял на пороге, мечтая о том, как сейчас пойду и потусуюсь с братвой, но дядя оставил меня и заставил наводить в гараже порядок. Видя, что я быстро управился, дядюшка устроил мне марш-бросок до южной части города, а потом заставил отжиматься и подтягиваться на скорость. И это в то время, пока эти уроды спокойно себе отплясывали под гоа-транс в еловом лесу, попивая стиратель и покуривая марихуану. Вот поэтому ехать я и не хотел, ведь спорт, как, впрочем, и уборку в гараже, я с тех пор не полюбил, да и планы у меня сегодня были совершенно другие.

Я, конечно, любил своего дядюшку, любил с детства, но никогда — по принуждению.

Вообще он принадлежал к особой породе людей, которые прошли через все мыслимые и немыслимые домны ада, но вернулись почти полностью живыми и, во всяком случае внешне, — невредимыми. Все у них было на местах, согласно номенклатуре, сообразно анатомическому атласу, но вот нервы, нервы порой сдавали. Выражал дядюшка свое негодование исключительно на вербальном уровне. Это был тот мастер боевых искусств, который никогда не применяет силу. Подозреваю, что такой навык был дан ему как награда за все мучения. За его спиной была десятилетняя служба на подлодке, какие-то контрактные военные дела в Африке и, конечно же, Первая чеченская. После всего этого дядюшка не потух, блеск его светло-голубых, нет — лазерных! — глаз стал еще ярче, чем в молодости.

Давно, будучи подростком, я пошел работать к нему на завод. Он там был бригадиром. Завод занимался переработкой вторичного металла. Красивый и даже немного поэтичный термин «вторичный металл» подразумевал, что разного рода фонащие гамма-лучами гнилые железяки привозили сюда со всего бывшего Союза, а мы с бригадой в этом говне радостно копались за 30 рублей в час. Вагоны грязных микросхем, фуры внутренностей межконтинентальных ракет, подводные лодки, списанные допотопные компьютеры, оргтехника и даже киноплёнка — все это

разбиралось, раскурочивалось, пускалось в жернова огромной молотильни и перемалывалось в разномастную крупу, которую потом увозили на переработку.

Высушенный, как суджук, одна сплошная жила — подвижный, с чуть жадным взглядом своих лазоревых глаз, расположенных по разные стороны длинного крючковатого носа, он действительно напоминал какую-то хищную птицу. Почему-то мы решили, что коршуна. Ясно было одно — коршун этот не из тех, что гордо реет над долиной, поджидая какого-нибудь жалкого суслика, а — понюхавший порошу, но не потерявший своего истинного достоинства старый коршун, который, только дождавшись смерти буйвола, неспешно спускается ему на лоб и метким движением клюва выбивает животному еще горячий, сладкий глаз.

Так что — да, я люблю своего дядюшку, однако вся эта затея казалась мне чрезвычайно несвоевременной и тупой. Утром я ехал туда, где лилось молоко и мед, а теперь меня ждут пыль гаража и запах мазута вперемешку с запахом собственного пота.

После указателя на Печки Гера свернул. Тут надо бы описать пейзаж. Ну там, как красив, таинственен и прекрасен уральский лес смешанного типа, когда он лежит у подножий гор и холмов, как он манит заглянуть в него, пройтись по его свежим тропам и так далее, как здорово собрать лукошко грибов или ягод или — просто остановиться на опушке и пописать на ближайшую березу. Как мироточивы сосны, как лес в июне благоухает своей свежестью и молодостью, хотя он такой древний, о да, такой древний и могучий... Но фигово мне даются пейзажи. Поэтому я переключусь внутрь машины и расскажу о пассажирах, тем более о них уже кое-что известно.

За рулем Гера, которого иногда называют Хартбрейкер. Здоровый мужик, реально здоровый, с небольшой бородой и густыми, темными волосами чуть ниже плеч. Как стало понятно из вышеизложенного, Гера не особенно любит поговорить. Он вообще обладает свойством полнейшей незаметности, это несмотря на свои размеры. Тишайший человек, во всех смыслах. Однако ж поговаривают, что один раз Гера чуть не навалил Сантьяго. За что — неизвестно, история умалчивает. Но кто из нас не хотел бы навалить Сантьяго? Короче, Гера — славный малый.

Сантьяго. Руководитель драм-н-бейс и дип-техно картелей, местный капореджиме электроклана, спекулянт, провокатор, антрепренер, фармазонщик. В девятнадцатом веке Сантьяго владел бы цирком уродов, бил бы кнутом карликов и бородатых женщин, нещадно бы их эксплуатировал и еще более нещадно пил. Но теперь другие времена, и в моде электронная музыка, а не уроды, женщины же повсеместно бреются. Несмотря на собственные сомнительные моральные качества, Сантьяго имел безупречный вкус на людей, и поэтому на его вечеринках всегда было все по-доброму. Делал исключение он только для стремного барыги, который фасовал плохие вещи, это я про Стуху. Но тут Сеня молодец — выбрал меньшее из зол. Сантьяго умел искать компромиссы, даже в самых щепетильных делах, при этом все-таки иногда беспощадно бесил (см. историю с Герой). На что жил Сантьяго, было никому не известно. Он говорил, что не работает из религиозных побуждений, потому что «Аллах не велел». При этом его отец был пастором протестантского прихода. Но противоречий здесь не было, просто примите это как данность.

Нат. У Ната был абсолютный слух, он умел играть на всех инструментах, и это притом, что из музыкальной школы его выгнали почти сразу же. Произошло это после того, как ночью он вскрыл окно музыкалки и вытащил оттуда геликон. Пропажу, помнится, обнаружили на утро, но следов Ната не нашли. Он мог бы и не спалиться, если бы не поддался соблазну и не играл бы на этом геликоне утром, днем, вечером и даже по ночам. Ну на что он рассчитывал? Конечно, его быстренько схватили. Из милиции добрая директриса музыкалки заявление забрала, потому что знала: украл он дудку не для продажи, а для себя. Нат как бы баловался, играя на всех этих гитарах и гуслях, волынках, сопелках, всяких там джембе и диджериду, вотефонах, удах и

кастаньетах. От него были без ума многие женщины, но он, в отличие от Хартбрейкера Геры, как будто бы ими не интересовался, предпочитая уделять внимание чтению художественной литературы, просмотру итальянского неореализма и, конечно, музыке. Со всеми этими невероятными свойствами он так и не нашел себе женщину. Кроме одной. Но однажды и это закончилось... Однако я отвлекся от темы.

Ну, обо мне, последнем пассажире, и говорить нечего. Если я и обладаю какими-то выразительными качествами или достоинствами, то все они целиком и полностью перекрываются недостатками: прежде всего воли. Ленив и спокоен, воодушевлен в меру, тусовки люблю тоже в меру (в последнее время не люблю совсем).

Вот и закончился лесной пейзаж за окном, а вместе с ним — пассажиры старенького ржаво-баклажанового «жигуля ноль пять», который мчался по полю к реке, чтобы найти на том берегу потерявшийся бензонасос от бензогенератора.

Всю надежду возлагали на моего любимого дядюшку.

11:15

Сказать, что мы обрадовались — ничего не сказать. Ильменка радостно плескалась прямо перед нами. Я даже видел карасей и ротанов, которые играли в ее водах. Дом дядюшки Коршуна поглядывал на нас прямо из-за небольшого холма на том берегу. Это совсем близко, так что радости нашей не было предела. Ее несколько омрачало одно лишь почти незначительное обстоятельство — отсутствие какого бы то ни было моста или иной переправы. Мост, собственно говоря...

— ...смыло, — прохрипел дюжий рыжий человек с мясистыми губами и россыпью веснушек по лицу размером с ведро. Такая смелая аналогия пришла на ум мне не случайно, ведь как раз в ведро, которое стояло у этого человека под ногами, он складывал ротанов. Рыбу одну за другой он тянул своим китайским спиннингом из воды. Нерест у ротанов, что ли?

Сантьяго посмотрел на быстрину перед нами, на большеротых рыбин и для чего-то уточнил:

— Что, совсем?

— Что «совсем»?

— Смыло совсем?

Рыбак хрипло усмехнулся:

— Так точно. К бебелям.

Вместо прежнего висячего моста из берегов на нашей и на противоположной стороне в небо тянулись только ржавые рельсы: две здесь и две там — бывшие пилоны переправы. Множество стальных тросов, некогда державших доски, теперь были оборваны и грустно опущены в воду. И только один-единственный трос связывал два берега. Да и тот беспечно телепался, по большей части в воде, вторя многочисленным водорослям Ильменки.

— И чего, друже, как нам быть? — крикнул рыбаку весьма уже пьяный Сантьяго. После этого он откусил лимон и, подбросив его над головой, попытался пнуть фрукт, пока тот падал. Не получилось. Лимон брякнулся на траву, а Сантьяго чуть не потерял равновесие.

— У тебя чего в канистре? — осведомился рыбак.

— Дары Казахстана, — улыбнулся Сантьяго и протянул пятилитруху рыжему.

Тот открыл огромный рот и влил в него по меньшей мере одну пятую канистры.

— Так-то оно получше, — выдохнул рыбак, а затем снова закинул удочку, шумно выдыхая воздух.

Сантьяго все это время в нетерпении крутился, играя худосочными желваками. Но рыжий его не замечал, он полностью ушел в личную рыболовную нирвану — его сознание стало одним большим поплавком на фоне гипнотических водорослей под

водой. Тогда Сантьяго отыскал падший лимон, зацепил его краем носка, эффектно подпнул и резким ударом ноги отправил в воду, аккуратно рядом с поплавком рыжего.

— Вы кто? — вдруг отмер рыбак.

— Мы из налоговой, — ответил Сантьяго.

— К офицеру, что ли? — рыбак указал подбородком на тот берег.

— К нему, родимому.

— Не платит, что ли?

— Чего не платит? — нахмурился Сантьяго.

— Ну налоги. Не платит, что ли?

— Это конфиденциальная информация.

Рыбак пошевелил челюстью и нахмурился.

— Цимес в том, — буркнул он вдруг, — что есть плотская флотилия.

— У нас у самих плотских дел хоть отбавляй, земля. Нам на тот берег, только и всего. Отблагодарим!

Рыжий покрутил глазами, потом резким движением телескопировал спиннинг обратно, подхватил снасти и отправился к машине. Он тяжело сел на переднее пассажирское, предварительно поставив себе между ног ведро с уловом.

— Зжай! — прохрипел он Гере.

Сантьяго только успел прыгнуть на наше заднее сиденье, и «жигули», развернувшись, поехали в сторону деревни Печки.

— И называть меня Боцман! Рыбак — это дед твой. Я — Боцман. И вообще, я не понял — вы кто?

Дальше события развивались стремительно и на редкость для уголка, удаленного от кипящего делами города, слаженно. Мы остановились возле чуть покосившегося домика почти на краю улицы. Боцман выпрыгнул из машины, зашел во двор и через минуту отворил изнутри ворота пустого гаража. Откуда-то из мрака он стал вытаскивать огромные блоки, полностью сделанные из пятилитровых бутылок — точь-в-точь как из-под стирателя.

Пока мы укладывали панели на крышу автомобиля, пока приматывали их веревками, из дому тихо выбежали маленькие мальчик и девочка — рыжие и веснушчатые, видимо, в папу. Они уставились на всю эту возню, внимательно изучили нас и, прежде всего Ната, а потом юркнули между бутылок и достали с пассажирского ведро с ротанами. У ворот они снова посмотрели на всю заваруху и снова — особенно пристально — на Ната. Тот потянулся в карман жилетки, что-то там нащупал, поймал любопытные взгляды детей, присел на корточки и поманил детвору к себе. Когда дети приблизились, он открыл ладонь и протянул девочке небольшую керамическую свиношку. Девочка недоуменно посмотрела на предмет, тогда Нат прикоснулся губами к гузке фигурки и попеременно закрывая пальцем то левую, то правую ноздрю свиношки, высвистел тихую, шуршащую мелодию. Девочка засияла, схватила подарок и шмыгнула в дом, за ней погнался брат.

На обратном пути Боцман нашел в своем плаще аудиокассету и засунул ее в проигрыватель. Заиграло что-то из 80-х, кажется — *Careless Whisper* Джорджа Майкла. Слушая вкрадчивый, чувственный саксофонный проигрыш, я вдруг вспомнил, что дядюшка Коршун научил меня одной важной вещи, он научил меня одной фразе, даже заклинанию. Это заклинание он применял каждый раз, когда понимал, что количество прикладываемого усилия никак не соответствует результату. Эта фраза — приговор. Под этим грифом любая вещь или схема делаются бесполезными настолько, что не достойны больше никакого осмысления. Теперь каждый раз, когда меня посещает неловкая догадка о несуразности всего происходящего, ну, например, когда я еду под Джорджа Майкла по проселочной дороге на машине, груженной самодельным плотом, мне является мой личный супергерой — дядюшка Коршун. Он цедит сквозь зубы свое любимое: «Суходрочь левой рукой». Это почти метафизический термин,

закрепляющий за вещь ее полную и абсолютную ненужность, онтологическую неукорененность. И вот что-то такое мне сейчас мерещилось... Что-то такое крутилось на языке...

Мы остановились возле берега.

— Кассету пока высуну. Это дядьев моих, — рыкнул Боцман и стал выбирать.

Вот, не один я люблю своего дядю.

Боцман зашевелился, отцепляя бутылки с багажника. Через несколько минут перед нами стоял настоящий плот, собранный исключительно из пластиковых пятилитрух. Чудеса.

— Ну что, поехали? — спросил Сантьяго.

— Отдать швартовы, — прохрипел Боцман, взвалил на себя конструкцию и побрел к воде.

11:35

— Эй, Боцман! — крикнул ему вслед Сантьяго. — Ты как вообще, умеешь управлять этим своим судном-то? Ты на нем плавал?

— Ходил, — буркнул себе под нос Боцман.

— Куда ты там ходил?

— Боцманы не плавают, а ходят. Я — Боцман.

Я снова посмотрел на здоровенный плот, собранный исключительно из пятилитрух. Боцман тащил его к воде, иногда справляясь с инерцией собственного весьма нетрезвого тела. Гера задумчиво чесал бороду, Нат, как обычно, любовался природой, а Сантьяго горел от нетерпения, поэтому семенил за Боцманом.

Я перерезал путь Сантьяго и, приблизившись к нему вплотную, сказал:

— Сеня, мы так не договаривались.

Он остановился.

— Я на этом говне не поплыву. Это фарш, это ж какие-то психоделические очумелые ручки. Давайте найдем кого-то с нормальной лодкой.

Боцман тем временем дотащил плот к самому краю воды.

— Дорогой мой, мы только туда и обратно. Как хоббиты, — добродушно ответил Сантьяго, махнув в сторону домика дядюшки Коршуна.

— Сантьяго, ты головой уронился? Это же груды мусора. Ты смотри, какое течение! Рыжий этот сегодня скормит нас своим ротанам.

Сантьяго посмотрел в сторону Ильменки так, как смотрят на какое-нибудь досадное недоразумение, вроде разлитого на пол пива.

— Да перестань. Нас ждет столько народу! Всем хочется музыки. Всем.

— Да мне плевать.

— Столько людей хотят солнцестояния, ты издеваешься?!

— Да мне срать просто.

— Совсем от коллектива откололся, совсем пал в разврат. Ну перестань. Туда и обратно, один круг.

— Сеня. Я никогда и ни за что не поверю, что ты затеваешь это только ради музыки, танцев и веселья. И я никуда не поплыву.

Сантьяго резко сменил улыбку на кривую ухмылку.

— Значит так, да? — будто бы осторожно спросил он.

Я помедлил. На всякий случай еще раз посмотрел на плот.

— Значит, так.

Он сделал шаг в сторону машины.

— Уверен? Все узнают, что ты зассал пойти на подвиг ради двух сотен братушек и сестричек, которые сегодня уйдут с поляны несолоно хлебавши. Без музыки, на ногах, не ведающих усталости. А когда Сгуха припрет товар, когда распродаст его

народонаселению, считай, всё — привет. Карачун, баста. Ты, лично ты, будешь повинен в массовых беспорядках. Ведь никто из них не получит свой дозы музыкального экстаза, и две сотни людей с огромными глазами — вот такими вот! — вбегут в город и будут поджигать, грабить, чинить беспредел. Они будут разбивать на улицах машины, чтобы только добраться до проигрывателя и включить его. И они будут громить витрины социальных магазинов и аптек, будут переворачивать авто одно за одним до тех пор, пока не найдут техно. А техно они не найдут ни в одной машине в этом городе, они не найдут его в магазинах и аптеках, потому что ни одна машина, ни одна аптека, ни один социальный магазин в этом городе не имеет винилового проигрывателя. Плотоядные зомби выйдут на улицы твоего родного города. И в этом будешь виноват ты! Ты увидишь разруху, увидишь этот апокалипсис в отдельно взятом городе и будешь проклинать себя и посыпать голову пеплом. Но только будет уже слишком поздно! А ведь тебе всего лишь надо сплавать с нами на тот берег и забрать бензонасос. Одна маленькая деталь, чтобы спасти то единственное святое, что у нас есть! Единственное святое, святая всех святых, Скиния собрания! От тебя требуется только попросить у своего дядюшки маленький насос!

Народ молчал. Даже Ильменка притихла своими водами.

— Мне все равно. Хоть рагнарек придет, — сказал я и направился к машине.

Сантьяго устало плюхнулся на траву, поднял голову к небу и прогудел:

— О, ну почему же всегда все именно так? Почему для достижения всеобщего благоденствия не хватает всегда какой-нибудь одной детали? Какой-нибудь ерунды? Какой-то сраной, маленькой пиздюлины? Гори оно все, никого здесь уже не спасти!

Гера уже стал искать в кармане ключи, когда Боцман вдруг резко повернулся и пробубнил:

— Не спасти... Захарика?

— Чего? — раздраженно прикрикнул Сантьяго.

— Захарик. На площади! — промывчал Боцман.

— На площади Захарик, на площади, — согласился Сантьяго и с недоверием посмотрел на Боцмана. Тот глазел на нас, как на слизь, а глаза его вдруг стали наливаться мутным лиловым цветом.

Тут нужно сделать важное уточнение, иначе смысл происходящего дальше будет для не посвященных не совсем понятен. Дело в том, что на площади в нашем городе стоит памятник первой машине, сошедшей с конвейера нашего автомобильного завода. «Захарик» — так ласково называют машину горожане. Ее уважают и относятся к ней почти как к святыне. Ей даже приписывают разную мистику. Мы в это не верили, однако считалось оскорбительным проявлять хоть какую-то неконвенциональную активность рядом с Захариком. Рассказывали, например, про парней, которые решили пописать на газоне рядом с памятником, а под их струями вдруг оказался электрический щиток. Или про беднягу, который раскурился рядом с Захариком, и у него случился тяжелейший трип — он увидел солдата времен Второй мировой с простреленной головой, который просил передать послание любимой девушке. Сама по себе история не впечатляет, мало ли чего покурилось парню, но ведь на следующее утро, в страшной паранойе, он пошел по указанному адресу и нашел глубокую старушку, которая в молодости была санитаркой на фронте. Парниша рассказал бабушке все, что слышал накануне от солдатика. Бабушке пришлось вызывать скорую — он не только угадал имя и фамилию, но и поведал бабуле нечто такое, от чего сердце ее не выдержало. Короче, Захарик был чем-то сакральным для всех. Даже пиво нельзя было под его сенью пить. И вот, по версии Сантьяго, его собирается разбить толпа упоротых любителей техно. Попыток манипулировать мной грубее я в жизни не встречал.

Однако глаза Боцмана все наливались и наливались лиловым, и я видел, как Сантьяго все больше и больше напрягался. Наконец по нему стало видно, что он чуть ли не обоссывается от страха, глядя на свирепеющего Боцмана.

— Захарика?.. — почти плакал, весь сотрясаясь, Боцман.

— Гера! — оглушительно заорал Сантьяго, вдруг оказавшись на заднем сиденье. — Рвем!

Гера проворно завел машину.

— Не пущу! — громче двигателя взревел Боцман и за долю секунды пересек поляну.

Огромной тенью он метнулся на мою сторону. Громадная, мощная лапа застлала мне взгляд. В ушах просвистел воздух. Когда я пришел в себя, то почувствовал, как вишу в воздухе, а мой череп и ляжку озверело сжимают свирепые пальцы Боцмана, предназначенные вовсе не для этого, а для того, чтобы держать в руках штурвал и отвоевывать право жизни у жестоких, яростных штормовых волн, чтобы ласкать престарелых блудниц портовых городов, чтобы трепать ими густые струи грозного Аквилона.

— Пойдешь по воде! Спасти Захарика! Насос для Захарика! Отдать швартовы!

Тут Боцман поскользнулся. К счастью, он уже стоял одной ногой в воде. Я плюхнулся в прохладную Ильменку и тут же, изрядно хлебнув из нее, а затем повинувшись инстинкту дайвера, задыхаясь, взобрался на плот у берега.

Парни — Нат и Сантьяго — радостно подскочили и взобрались на эту конструкцию за мной.

— Насос для Захарика! Якорь под клюзом! — кричал Боцман. Он тоже, наконец, вскочил на плот, одной рукой держа спиннинг.

Сантьяго схватился за трос — единственную ниточку, связывающую берега Ильменки. Боцман, встав во весь рост, растелескопировал спиннинг и стал ловко толкать им дно.

— Держать двенадцать часов! — кричал Боцман. — Скорость три узла! Отводи! Прямо руль! Спасти Захарика!

Но примерно на середине рулевой Сантьяго встал, как вкопанный. Видимо, холодная вода, свободно проходившая между бутылок, отрезвила его. Он завертел глазами и левой рукой стал колошматить себя по ляжкам.

— Тапки! — крикнул он куда-то в воду.

Я подумал, что он увидел в воде чьи-то тапки и стал смотреть в волны, но, конечно, никаких тапок там и в помине не было. Сантьяго истошно закричал и согнулся до самой воды.

— Мои тапки! — вдруг перешел он на смех.

Я на всякий случай посмотрел на его ступни, но они как были в кроссовках, так и остались.левой рукой Сантьяго стал нащупывать что-то в кармане и вдруг вытащил пакетик-зип. В нем лежали три синие таблетки.

— Тапки, — зарыдал Сантьяго, — мои тапки!

Сантьяго тряс пакетиком у нас над головой. Когда он в следующий раз, уже с гневом сказал «тапки!», то принялся одной рукой открывать пакетик, а второй стал помогать. Трос при этом он, конечно же, отпустил.

Легкий плот, нагруженный тяжелыми мужчинами, потеряв направляющую, завернулся сначала вправо, затем влево и метнулся вниз по водам Ильменки.

Равновесие было потеряно, и самый тяжелый из нас — Боцман — стал терять былую уверенность и пластику венецианского гондольера, несмотря на опьянение ему все-таки, в некоторой степени, присущую. Боцман вдавил плот под себя, и, недолго пробалансировав, плюхнулся в воду. Наше судно теперь качнулось в другую сторону, и без лишних усилий воды Ильменки смыли и меня.

Лабиринты стен. Лабиринты ведут через кусты жимолости, роняющей первые слезы. По соленой от жары почве растекается жирная яблонева смола. Слышен смех из скворечников, повернутых на север. Осока жметя к берегам, склоняется в поисках своего отражения солнце над прудом, в котором никогда никто не жил, кроме

ансамбля фиолетовых суккубов. Ледовитый цветник стряхивает березовые опилки с висков грядущего века. Динамит. Знобит. Серебрится. Произрастает. Глупо оставить семена здесь, под присмотром низких проводов и почти уничтоженного кариесом тротуара из невероятного змеевика. Валаам. Пиршество. Магниты. Надо было делать что-то. Я, наконец, вынырнул и, сориентировавшись по краешку дялюшкиного домика, погреб к берегу. Вдруг силы закончились, и нестерпимо захотелось просто дышать. За горло схватила сильнейшая в своей бесполезности обида от невозможности сделать это. Руки вдруг потеряли управление, и двумя плетями повисли, собирая водоросли. От страха я успел даже прийти в себя и успокоиться мыслью: «Мне помогут».

Кое-как я повернулся и увидел кудри Сантьяго. Они то появлялись, то исчезали в воде, трепетались где-то ниже по течению. Еще дальше читалась бравая фигура Ната, оседлавшего плот. Рывками, по сложной геометрической кривой он направлял к берегу. Справа от нас виднелся Боцман — тот стилем «баттерфляй» умело плыл поперек течения к берегу. Разумеется, как и всякий настоящий моряк, к родному берегу.

Когда я увидел его фигуру, выходящую на сушу, то постарался как можно сильнее прокричать, предварительно заглотив как можно больше воздуха. Но легкие мои наполнились водой, такой тяжелой и жгучей.

Нежный, властный мрак закрыл многочисленные пузыри вокруг, закрыл вспышки гнева и радости, шума и ярости. Чистейшее H_2O , обогащенное биологическими элементами, наполнило мои альвеолы и направилось разрушать мою кровь клетку за клеткой. Мою кровь — человеческую, слишком человеческую. Когда клетки жаждали кислорода — О, О, О — кричали они, им упорно отдавали только Н. Аш аш аш! — горели клетки одна за другой. Это то, что нам нужно, говорили они, это первоэлемент, это то, с чего началась Вселенная, давай-ка вернемся, давай вернемся к началу начал, ты слишком тяжел в своем скафандре из мяса! Но яростный, страстный пожар разгорался в клетках, не желающих менять спецификацию, предавать идеалы, терять знамя священного O_2 . Зелень и стыд.

Фантазмы плоскогорья в рутине облаков. Движение в сторону разрисованных иероглифами вечности ржавых каркасов. Ветреная позолота мгновений. Высохшая аристократическая тропа вверх по склону века. Ярость. Репейник. Анамнез. Зависть. Красный.

А на том берегу

12:00

Гелиотроп. Если произносить это слово вслух громко и уверенно каждое утро, то у вас нормализуется давление, пройдут боли в спине и артрит. Вам даже не надо будет пить сырые яйца, чтобы ваш голос был чист и звонок. Вы можете забыть про проблемы с кишечником. Возможно, у вас даже улучшится потенция. Попробуйте. Просто с завтрашнего утра начните произносить слово «гелиотроп», а если сейчас у вас утро, то прямо сейчас громко, уверенно произнесите слово «гелиотроп». Это не шутка. Это гелиотроп. Связь тут сложная, но если немного задуматься, в принципе, понятно, почему первая вещь, которую я отчетливо вижу на этом берегу — запах водорослей. Это заставляет меня оглядываться вокруг — неужели можно видеть запах? Водорослей и вправду больше, чем обычно — целая подушка из речных растений под моей головой. Слишком много, учитывая, что в обыденной жизни я с ними совсем никак не сталкиваюсь, даже морскую капусту не ем.

Дальше по течению пришвартован Нат. Он уже выкинул плот на берег, а сам

бежит во весь опор к нам, ко мне и Сантьяго. Тот, согнувшись, лежит в паре шагов от меня. Жалобно всхлипывает, козлиная. Понимает, что впутал нас в это все, думает, как жить дальше. Впрочем, комментарии излишни.

— Сука, Боцман! — вдруг, как дождевой червь, которого ударило электричеством, выгибается и вскакивает Сантьяго.

Сквозь грохот речных вод его отчаянный вопль все-таки прорывается на тот берег. Боцман, выжимая штотки, поднимает голову — мол, чего еще надо?

— Ты когда-нибудь рулил этой своей хернею?

Боцман делает пару шагов в сторону Сантьяго, щурясь, пытаясь уловить, что тот ему кинул. Все лицо его выражает недоумение: «Какие-то претензии, что ли?»

— Твоя херовина когда-нибудь плавала? Я не шучу, морячок, ты когда-нибудь управлял своим плотом?

Боцман, усмехнувшись, тут же громогласно отвечает:

— Я че те, больной по-твоему, плавать на этом? Меня и тут муха не жрет!

Сантьяго с размаху садится на жопу, потом поднимает руку, разжимает пальцы и смотрит на прозрачный пакетик-зип с тремя мокрыми таблетками в нем.

— Тапки промокли! — кричит он, будто сжимаясь от невыносимой боли.

Затем Сантьяго опять встает и истошно кричит, да так, что Ильменка на время будто бы застывает.

— Гера! Слушай сюда!

Гера, задумчиво куривший папиру, поднимает голову и смотрит прямо на Сантьяго. Тот продолжает:

— Мобилы мы промочили нахер! Жди тут. Сейчас ходим за этим блядским насосом и вернемся, на этот раз постараемся не сдохнуть! Ты меня понял?

Гера кивает.

— Захарика оставьте целым! — кричит Боцман. Он уже закончил с вещами и, закинув штанцы на плечо, не спеша топает домой, слегка покачиваясь.

Мы разворачиваемся и пытаемся сориентироваться: в какой стороне дом дядюшки Коршуна?

— Я понял, кто вы! — слышно нам в спину.

Боцман, вдруг чему-то обрадовавшийся, машет своими мокрыми штанами.

— Вы не из налоговой нифига!

Радостный Боцман аж подпрыгивает на своих мощных волосатых голых ногах.

— Вы не из налоговой! Вы — хиппи!

12:12

Делаем мы пару шагов от берега, и тут сознание ко мне внезапно возвращается, будто это такой оптический аппарат, у которого на время вышел из строя фокус. Я вдруг все отчетливо понимаю, всю вот эту произошедшую только что дичь несусветную. Я кричу:

— Сеня, ты понял вообще? Ты только что чуть не утопил меня, себя, Ната. Ты болен?!

Нат держится чуть позади. Он приосанивается, как бы между делом говорит:

— Я почти даже не намок. Реакция.

Сантьяго машет руками, будто его атакует небольшой рой мошки.

— Ты мне обязан по гроб, — продолжаю я. — Ради танцует чуть не утопить друзей!

— Так, успокойся, — отвечает он и открывает пакетик с синими, разбухшими, постепенно превращающимися в кашку таблетками.

— Нам просто нужен бензонасос для пизженного старого бензогенератора. Тоже мне великая задача. Коршун — твой дядя. Просто попроси его, и все.

Я останавливаюсь как вкопанный.

— Что? Повтори.

Сантьяго меняется в лице. Отрешенный пофигизм вдруг махом слетает с его хитрой смуглой рожи. Вид у него мгновенно становится как у шенка, которого поймали с поличным за обоссыванием хозяйского коврика. Он поспешно запечатывает зип и сует таблетки в мокрый карман.

— Ну, началось. Перестань... Мы просто забрали эту херовину, потому что она никому не была нужна. Гора железа, как и весь завод. Как и вся тяжелая промышленность в стране. Как и вся страна. Остынь, амиго.

Тут весь расклад является мне четко и ясно, как в уголовном досье. Прошлым летом Сантьяго с Герой искали работу и попросили меня устроить их на завод через дядюшку. Ну я, добрая душа, и устроил. А потом дядюшка уволился с завода, и странное дело, почти синхронно Сантьяго стал устраивать эти выездные тусовки, весь свет и звук от которых получали благодаря бензиновому генератору «ЗУ-2». Теперь понятно — тырennomу на заводе моего дядюшки. И теперь им нужен бензонасос, ведь свой они где-то умудрились потерять. Наркоманы. Мне вдруг нестерпимо хочется утопить Сантьяго в Ильменке.

— Так, иди сюда, — говорю я ему и подхожу вплотную.

Сантьяго с наглой улыбкой смотрит мне в глаза.

— Роман Фомич? — говорит Нат и смотрит за наши плечи.

Мы с Сантьяго оборачиваемся и видим один лазоревый глаз, зорко следящий за нами аккурат поверх двух черных маслянистых отверстий, поверх двух бесконечностей — это дядюшка Коршун разглядывает нас в прицел двустволки.

— Твою ж за ногу! — горланит дядюшка. — А я думал, опять желтые говноеды. А это, оказывается, совсем обычные!

Дядюшка опускает ружье, но потом, зыркнув лазоревым глазом на Ната, почему-то снова поднимает ствол.

— Слушай, малыш, а этот вот точно не из желтых у вас?

— Нет, дядь, он же белый.

— Белый, значит. А я по-вашему что, красный? Ну ладно, малыши, айдате-ка, коль уж добрались.

12:29

По дороге дядюшка тыкает Сантьяго в плечо и принимается рассказывать историю.

— Слушай, цыганенок, давно тебя не видел, вот тебе история. Был кореш у меня, дальнобой Рустам. Рустам развелся в тридцать пять, а женился в восемнадцать. Во как угораздило! Баб у Рустама не было ни до женитьбы, ни во время. Всем он был хорош, только в церковь по воскресеньям не ходил. И вот все это его заманало в край, и он развелся со своей малышкой, считай, она же и первая его любовь, и первая женщина — так себе сочетание, надо сказать. И вот, Рустам решает, что надо бы цель себе поставить добротную. В материальном плане, раз личная жизнь дала трещину. И решает горбатиться на квартиру. Потому что хоть он с женой и развелся, но все же продолжал жить на ее квадратных метрах. «Какая цель у тебя, Рустам?» — спрашивали мы. «Заработать на квартиру», — отвечал. «Зачем тебе квартира?» — спрашивали мы. «Чтобы баб водить», — отвечал. Я солидарен с ним. Потому что мужчина лишается девственности не по факту случившегося, а...

— По любви? — пытаюсь угадать я.

— Малой, — дядюшка притормаживает и перебрасывает двустволку на другое плечо. — Ты к кому зашел? Ты что, разве видишь в моей руке пальцы, чтобы я тут сказки добрые рассказывал? Мужик лишается девственности только со второй

женщиной. Именно тогда он может действовать как мужчина. Так вот. Возвращаясь к намеченному. Рустам пытался разойтись со своей первой малышкой. Но как ты от нее уйдешь, когда она у тебя на кухне хозяйничает и беляши жарит? И предпринимает наш Рустам тогда опасный заход: звонит каким-то браткам и берет некий странный груз с Китая. Ему и раньше поступали такие предложения, но рисковать он не решался. Братки эти мутные, груз непонятный. Он воображал, что на границе с Китаем его остановят и попросят открыть багажник. Что там от этих братков можно было ожидать? Нерастаможенное мясо? Незаконные товары? А может быть, наркотики, за которые в Китае сажают пожизненно? И вот Рустам выезжает за баснословные бабки на эту операцию. Грузится в каком-то мрачном хунвейбинском гетто, едет на границу. На таможене сотрудник кивает и говорит на китайском: «Приятного чаепития!» Эту фразу Рустам знал, потому что пару раз пил чай в китайских чайных. Проехал границу. Пронесло. Все ровно. Деньги пришли Рустаму на карточку еще на подъезде к городу. Отдал фуру, пошел домой, по пути зашел в кабак и как следует жажнул за начало новой жизни.

Но вот его жена-то не дождалась. На правах разведенки нашла себе мужика, пока он там с чаями, а может и не с чаями, в фуре по Поднебесной мотался, и поменяла замки. У Рустама была куча бабок, не знаю, почему он не вызвал в ту ночь такси и не отправился в теплый угол. Он просто сел на скамейку и...

— Замерз насмерть?

— В октябре? Че мелешь? Жив остался. Отправился на следующий день квартиру выбирать и выбрал. Дело нехитрое. Но вот меж делом так его крепко что-то схватило за яйца. Но Рустам внимания не обратил. Ну трещат яйца и нехай себе. Жизнь и покрепче хватала, на той же таможене вон как лихо сжались тестикулы. На новоселье была куча одиноких баб. Рустам даже заметил себе одну и оставил ее на ночь, но так перебрал, что у них ничего не получилось. Да и ладно, куда торопиться? Впереди еще столько теплых баб за тридцать. И он проспал весь день и всю следующую ночь. А наутро понял, что его яйца так сильно набухли...

— Спермотоксикоз?

— Чего? Это простуда была. Короче, чуть не отрезали Рустаму яйца, обморожены они были будь здоров. Каждое — размером с бильярдный шар. Нечего потому что сидеть на лавочке синим под окнами бывшей жены, когда она там беляши новому екарю жарит. Баб теперь он водить не водит. Спрашиваю, малышня: зачем ему квартира, если яйца отморожены?

Мы молчим.

— Правильно молчите, потому что я пошел от обратного. Мне не нужна квартира, у меня есть дом. В него можно водить сколько угодно баб, но меня это уже не интересует. Ведь я нашел единственную.

— Ты женился, дядя?

— Нет, замуж вышел.

— Ты нас с ней познакомишь? — спрашиваю я осторожно.

— А как ее зовут? — интересуется Нат.

Но дядя не слышит, он снова перебрасывает двустволку с плеча на плечо и топает к своему дому.

Перед тем, как открыть калитку, он поворачивается к нам:

— Так, малыши. Среди вас нет ли нацистов, скинхедов каких-нибудь, ультраправых мудаков?

Он окидывает нас взглядом и, вдруг расслабившись, начинает посмеиваться, глядя на Сантьяго.

— Ну ты, цыганенок, точно уж не фашист.

Он тыкает ружьем в Сантьяго, тот почему-то тупит взор, будто бы виноват в том, что он не фашист.

— Ты, — он показывает на Ната, — вообще чудной какой-то, точно не фашист.

— Ну а ты, — показывает он на меня, — был бы фашистом, давно бы тебя уже убил. Даже если бы твои ультраправые симпатии в тебе проснулись в младенчестве.

— Дядь, — спрашиваю я, — а что сейчас с Рустамом?

— Да как что. Лечится помаленьку. Аудиосистему себе крутую купил. Каждый вечер слушает «В пути шофер-дальнобойщик». Все у него будет хорошо, потому что это история не о потере, а об обретении яиц, если вы, конечно, понимаете, о чем я. Проехали. Короче, добро пожаловать, малыши.

И дядя Коршун распахивает калитку и проводит нас внутрь. Глаз Сантьяго, как прожектор, тут же устремляется к гаражу, у стены которого приставлены моторы, сети, сломанные весла, автохлам и даже огромное крыло от самолета. А я разглядываю дом: еще в прошлом году крыша его была укрыта новенькой черепицей. Теперь же сверху добавился новый слой их множества листьев, елочных и сосновых иголок, другого неопределенного материала природного происхождения. Под скатом крыши все те же сушатся добротные сети.

— Я слышал, Роман Фомич, в вашем гараже все есть, — ухмыльнувшись, спрашивает Сантьяго.

— Все есть, точно, — на миг останавливаясь, отвечает дядюшка.

— И вы можете похвастаться, что в нем найдется любая деталь для любой машины?

— Обижает!

— Тогда, если бы вы мне помогли, я ищу одну деталь... — кидается к нему Сантьяго.

Но фразу он закончить не успевает. Его резко прерывает громкий голос дядюшки. Он открывает дверь в дом и говорит, глядя на Ната:

— Помнишь, малой, ты спросил про мою единственную? Зовут ее — не поверите — Сезария. Но я кличу ее просто Маня, а то мудрено как-то. Малыши, добро пожаловать в мое гнездо!

Он распахивает низенькую скрипучую дверь. Из избушки к нам выходит стройная девушка с кротким взглядом, одетая в такое кайфовое плотное, разноцветное платье, связанное вручную из тяжелой шерсти. Платье просто светится на ней — до того оно хорошо. А мы хором забываем себя, потому что девушка просто неотразима в этом жарком и влажном июньском уральском лесу. А еще она до ужаса смущена и ко всему прочему — негритянка.

12:46

— За дружбу народов я, — чеканит дядюшка, — и расистов не терплю еще больше, чем буржуев! Всем же понятно, что негр вызывает ненависть, а ненависть вызывает негра.

— Всегда ценил вашу принципиальность, — улыбается Сантьяго.

Мы стоим в сенях. Дядюшка начинает задорно брызгаться холодной водой из умывальника.

— Че замолкли-то? — фыркает он. — Щас будем есть фуфу.

— Аппетитно звучит, — замечает Нат.

— Не остри. Это национальное нигерийское блюдо. Из пшеницы. В русской печке готовится впервые.

Дядюшка, обтеревшись полотенцем, ведет нас по своим хоромам. Я с интересом смотрю на стены и полки, хотя некоторые предметы здесь знакомы мне с детства: головы животных, среди которых есть как известные, так и неизвестные науке, чучела птиц, вырезки из американских газет прошлого века с описанием зверств Сталина, и

тут же рядом — закрылки самолета, вилки офицеров СС, моя фотография. Я там двухлетний пучу глаза на горшке.

Девушка все это время стоит возле печи, помешивая что-то горячее в чугушке. В полумраке дома ее кожа блестит нежно-лиловым и там, где падает от окна свет, светится золотистым. Вот она поднимает голову, глядит на дядюшку, как-то причудливо двигает губами, издавая при этом пару нежных щелчков, будто невероятная птица. Дядюшка тут же подлетает к ней и обнимает ее гибкий, сильный стан. Сухой и смуглый, со своими лазоревыми глазами, он смотрится рядом с ней как властный колонизатор. Она наклоняется к его уху и что-то низко ему шепчет.

— Обед готов, малышня, садись, поклуюм! — кричит дядюшка.

Мы усаживаемся за стол и принимаемся за обжигающий, ароматный фуфу — вязкую пшеничную кашу. Ее Маня-Сезария вывалила на большую деревянную доску, предварительно придав массе форму идеально гладкого полушара. Едим мы прямо руками. Видимо, таков нигерийский столовый этикет.

Наши глаза скользят то по контуру ее удивительной фигуры, то по стенам обиталища. Там — все те возбуждающие умеренное любопытство предметы и фотографии. Картриджи от «Сеги», приклеенные к деревянной стене, корабельный барометр, большой флаг Сербии с надписью «Косово је Србија», рядом — рисованный маслом портрет Хайли Селассие. На другой стене — великое множество фотографий с завода, где на больших коллективных снимках — молодые загорелые ребята, заслуженные финалисты муниципального конкурса «Я — заводчанин».

— А вот и две тысячи седьмой. Твой год, цыганенок! — с полным ртом говорит дядюшка и бьет Сантьяго в плечо.

— Спасибо, Роман Фомич! Мы тоже вас с теплом вспоминаем всегда! И любовью...

Дядюшка всасывает кусок пшеничной массы и, грозно нахмурившись, вдруг ударяет по столу. Маня-Сезария, смиренно стоявшая возле дверей, прошлепав своими ступнями цвета слоновой кости по деревянному полу, стремительно подбегает к нему.

— Да не звал тебя, родная! — кричит дядюшка и кивает в нашу сторону. — Мы беседуем с малышами!

Нат засовывает руку в горячую массу и отщипывает себе кусочек.

— Ты знаешь, цыганенок, — погладив девушку по упругим бедрам, говорит дядюшка, — а ведь не зря мы стали тебя называть цыганенком.

Повисает долгая пауза. В доме довольно темно, но я вижу, как Сантьяго бледнеет.

— Ты ведь не обижаешься?

— Да нет, Роман Фомич, вы что, — резко выдыхает он.

— Вот и я про то же. Ведь только в том обществе может развиваться любовь и мир, в котором исходные значения уничижительных расистских словечек забыты. Понимаешь, к чему веду? Вот какой у нас на заводе был замечательный и славный коллектив — все друг друга уважали, настоящая бригада. Только киргизов я не любил, но, может, это у нас особенные киргизы были, не лучшего пошиба.

— Конечно, Роман Фомич, — зарывшись в ладонь, полную фуфу, мямлит Сантьяго.

— Славный был год тогда, правда ведь? — прищурился глаза и склонив голову набок, спрашивает дядюшка.

— До сих пор с пацанами вспоминаем, — махом проглотив ладонь дымящейся каши, отвечает Сантьяго. — С любовью.

— Славный-то славный... А ведь в тот год какие-то пидоры свистнули у нас генератор. Представляешь, нет? Эх, отличный генератор был: «Зу-два».

Мне уже никакого фуфу не хочется. И так весело. Сантьяго вдруг закашливается, и из него летят куски пропаренной пшеницы.

— Ох, детки... Убил бы я этих говноедов, что стащили генератор. Всех бы

говноедов переубивал. А вот лесных этих — в первую голову. Ну, а потом уже тех, кто генератор стащили.

— Лесных говноедов? — дергает спросить меня.

— Лесных желтых говноедов, которые били мою Маню. Она же от них прибежала. Как дело было. Иду ночью на рябчика, никого себе не трогаю. Вижу — желтые тащат девку за волосы к реке. Ну, думаю, пусть развлекаются, как хотят: у нас вроде как с ними негласное соглашение, я их не трогаю, они — меня, да и потом — в свободной же стране живем, как говорится. Но я всегда знал: желтые пидоры и есть желтые пидоры. А девка тем временем сопротивляется, верещит. И верещит как-то не по-нашему. Это я сразу понял. Я что, не знаю, как наша баба верещит? Ну, думаю — у каждого свои развлечения. А они ее к берегу подносят, в Ильменку — р-раз! И поют что-то свое говноедское, и в горн медный там один дудит лажу какую-то. Девка сопротивляется, булькает пузырями. Потом снова — р-раз! Тут уж я не выдержал, любопытства сдержать не смог, присел и из-за кустов на них смотрю.

Маня-Сезария незаметно исчезает с кухни, бесшумно пропав в комнате. Дядюшка невозмутимо продолжает:

— И снова, и снова. И поют что-то, и в горн свой дуют.

Тут дядюшка крепко задумывается, уставившись на изрытый нашими руками полушар фуфу.

— А потом? — осмеливаюсь я спросить.

— А че потом? Отстрелил я ихнему жирдяю одному ухо и увел Маню. Хорошо, что у меня травы есть хорошие, для души. Мне тут один отшельник их поставляет. Напоил ее, успокоил. В баню сводил. Представляете, бани никогда не видела! Все думала, что это кухня такая. Ну, им там в Нигерии хорошо, вышел в чем мать родила на своей Лимпопо, искупался да пошел обратно. Главное, чтобы крокодил ничего по пути не откусил, не отберешь же у него потом.

— В Нигерии течет Нигер, — с улыбкой говорит Нат.

— Я тебе сейчас язык отрежу, если слова не научишься подбирать, — рывкает на него дядюшка.

Улыбка на мгновение пропадает с губ Ната. Однако он опять улыбается и невозмутимо говорит:

— Это речка такая. Лимпопо в Нигерии не течет. В Нигерии Нигер течет.

Дядюшка сердито замолкает. Делать ничего не остается, я ем еще кусочек каши.

— А что теперь с Маней? — спрашивает Нат.

— С Маней все отлично, вот сами спросите. Ну, посольство их уже в курсе. Теперь — сначалаждемся ответа ее нигерийских родственников, те и не надеялись уже, что от нее будут еще когда-нибудь весточки. Желтые же выкрали ее из Саратовского студгородка — на экономиста же поехала девочка учиться. Всем нигерийским аулом деньги ей на учебу собирали... Вот, ну а как получим ответ — пригоним родственников сюда и отпразднуем русско-нигерийскую свадьбу. Первую на Урале! Но давай не будем о планах. Предпочитаю Бога не смешить и думать делами. Так что давайте закруглим тему и перейдем к вашим баранам. Что ты там, цыганенок, говорил? Что тебе нужно было в гараже?

13:01

Дядюшка Коршун заходит в темноту. Следом и мы делаем шаг в сырую прохладу. Щелкает выключатель. Сначала чикают, эпилептически моргая, люминесцентные лампы, появляется непропорционально длинное нутро гаража.

— Так что там нужно-то, какой там бензонасос? — радостно спрашивает дядюшка, окидывая взором несметные богатства внутри. Они, эти богатства, прибиты и пришиты к стенкам, они свисают с потолка, они вмонтированы в пол — все эти

миллиарды ящиков, набитых отвертками, сверлами, шурупами, надфилями, черепами животных, все эти полки, на которых громоздятся электромоторы и глушители, пылесосы и обогреватели, эти петли, на которых висят вилы и косы, серпы и молоты. К потолку приделан массивный мотоцикл «Иж-Юпитер», в дальнем конце гаража — целый слесарный парк аттракционов: сверлильный, токарный, фрезерный станки и еще какой-то механизм, похожий на устройство для средневековых пыток. По правую руку, в нише, располагается самогонный аппарат, который подпирает древний, пузатый алфавитно-цифровой монитор. Сразу возле нас стоит потрепанное, но внушительное чучело медведя.

— Зу-два, — глотая воздух пересохшей глоткой, произносит Сантьяго.

Дядю Коршуна в это время занимает какая-то трещинка в стене, поэтому он реагирует не сразу. Он матерится себе под нос, что-то по поводу хреновой штукатурки, потом переводит лазоревый глаз на Сантьяго, мол, повтори.

— Зу. Два... — сглатывая, говорит Сантьяго. Его голос почти не дрожит.

Дядя Коршун сверкает глазом и снова отворачивается к стенке:

— Знатный был генератор. Однажды Алёша на своем кране расхреначил высоковольтную линию. Подрубили «Зудву», воткнули в общую сеть — вытянул весь завод, красавчик. Литров двадцать соляры за день сожрал всего. Эх! Жаль, нет больше «Зудвы»!

— Может, и найдется... — побледнев до цвета стены, выдавливает из себя Сантьяго.

— Да схуяли! — усмехаясь, отвечает дядюшка.

Тут Сантьяго выдыхает и ровно, громко и старательно произносит:

— Роман Фомич, мы к вам пришли с особой миссией. Уже год с молодежным отрядом мы выслеживаем банду воров, которые могут быть причастны к похищению «Зудвы». Мы знаем, что они орудуют по всему уральскому региону: воруют старые машины, переделывают их и продают как новые.

Люминесцентные лампы в гараже вдруг снова стрекочут. Дядя Коршун взмывает над Сантьяго:

— Тебе зачем бензонасос от «Зудвы», цыганенок?

Тот, будто бы во сне, продолжает:

— Нужны неопровержимые доказательства. Банда действует тихо и осторожно. Но, кажется, они прокололись... В газете мы нашли объявление. Некто, мы подозреваем, представитель преступного картеля, хочет купить бензонасос именно от «Зудвы». Понимаете?

— Цыганенок, что ты мелешь? — рычит дядюшка.

Что он молол, действительно? Еще секунда, и дядюшка вцепился бы в Сантьяго своими когтями и порвал бы его на четыре части.

— Именно так, Роман Фомич, — ледяным голосом произносит Сантьяго. — Вероятно, у вас есть запасной бензонасос для генератора «Зудвы»? Тогда мы могли бы организовать контрольную закупку, скрутить этих нечестивцев и проверить, зачем же им деталь от такого редкого бензинового генератора. Если мы выйдем на них, то сможем вернуть генератор и доказать вашу невинность.

— Невинность? — на всякий случай уточняю я.

Дядюшку Коршуна тоже озадачивает это слово. В тусклом свете мне даже кажется, что он на короткое время улыбается, видимо, вспоминая век своей невинности. Но через мгновение дядюшка опять мрачнеет и впивается глазами в бледного Сантьяго. Его сердцебиение раздается по всему гаражу.

— Вас ведь именно из-за генератора уволили с завода, Роман Фомич? — спрашивает Сантьяго.

Дядюшка вначале будто бы игнорирует вопрос, но потом так мощно сверкает глазами, что становится невыносимо дышать.

— Да вертел я их всех! Я выходил лучший молодежный отряд в области, такие шеглы были, а стали орлами. Я собрал все призы по округе! Эти потроха из руководства, эти стервятники, этот Данылыч, пингвин жирный, давно хотел меня сплавить. Вот и дождался случая, сучара. Тоже мне — генератор! А я что? Ну, добрый генератор, базара нет, но это ж суходроch левой рукой. Вы к службе охраны предьявы кидайте! Эх! Пятнадцать лет, отданных заводу, — псу под хвост.

— Обидно вышло... — вставляет Сантьяго.

— Да вертел я их. Отличный насос на «Зудве» стоит, редкий. Экспериментальная модель «Рум-один». У нас на заводе всего два их было. Один — красный, рабочий, другой — синий, на всякий случай. Такую комплектацию раньше делали, не то что нынешние буржуи. Первый-то стоял и робил исправно. Так что запаска и не нужна была. Уходя с завода я ее и свистнул под шумок. Зачем — не знаю. Ну цыганенок, повезло вам!

И дядюшка кидается перебирать многочисленные ящики, мешки, полки. С антресоли на нас валятся сушеные грибы и велосипедные насосы, ядерные боеголовки и банки с малосольными огурцами, кирзовые сапоги и советские вафельницы, лук-севок, фотоаппарат «ФЭД» и матовые открытки с молодой Гурченко. Нервный, блестящий от пота Сантьяго находит на полу полупустую мягкую пачку сигарет «Балканская звезда», достает одну и закуривает. Вскоре по завалам к нам пробирается дядюшка. Он держит в руке небольшую цилиндрическую деталь, длиной буквально в ладонь. На ней — резной замысловатый узор, напоминающий тольтекские орнаменты. Поверхность ее отсвечивает тусклым сизым.

— Это оно, — шипит Сантьяго.

Дядюшка Коршун вручает бензонасос Сантьяго, как кубок победителю «Формулы-1», и тут же хмурится.

— Держи, цыганенок. Найди этих говноедов. Хочу в глаза им посмотреть да по клюву пару раз щелкнуть.

Дядюшка впивается в Сантьяго своими глазами. Тот глядит в эту яростную лазурь решительно и непоколебимо.

— Считайте, вы уже в них смотрите. Мы найдем говноедов!

13:38

Когда мы подходим к воротам, Сантьяго поворачивается и говорит:

— Вы обязательно вернетесь на завод. И честь ваша будет...

— Слушай, малышня, ты мне это не надо, — перебивает его, сощурившись, дядюшка Коршун. — Я там пятнадцать лет разбирал подлодки. И меня это так достало, кто бы знал. Если бы не отсутствующая половина кишечника — я бы еще на этих подлодках ходил! И ни один баклан не осмелился бы у меня ее отобрать. Для офицера это позор — разбирать судно, на котором ты когда-то ходил. Так что пусть засунут себе этот завод куда захотят.

Дядюшка останавливается посреди тропинки и показывает вправо, где на аккуратной зеленой полянке устроен миниатюрный круглый бассейн, в котором плавает пластиковый макет охотничьей утки. Диаметр у бассейна едва ли больше человеческого роста.

— Вот что это, ты как думаешь, цыганенок?

— Бассейн, Роман Фомич.

— Верно. А из чего он сделан?

— Ну как... бетон там, цемент.

— Сам ты цемент. Подлодка это. Нос ее, понял?

Сантьяго восхищенно кивает, но надо знать Сантьяго довольно долго, чтобы видеть за этим восхищением жгучее желание поскорее смыться. Мы вновь двигаем

дальше, через пару шагов дядюшка резко поворачивается. Сантьяго не успевает затормозить и бьется в его плечо лбом.

— Что вспомнил-то! Ключ у «Рум-один» особенный. Без него вы насос не прикрутите к генератору... Просто придите на встречу к этим говноодам и дайте им как следует по башке, можно прям насосом. А потом сразу ко мне тащите — я добавлю.

Сантьяго вдруг меняется в лице.

— Роман Фомич, а где же ключ?

— Да я его... у Тычинкина же!

— У кого?

— Да старик Тычинкин заходил прошлой осенью — говорит, дай что-нибудь из инструмента, мне для мотоплуга, свечи закрутить. Увидел от «Зудвы» ключ, тот на стене прямо у входа висел, схватил, радостный пошел. Кричу ему — это не то! А он все равно его взял, да жалко что ли? Так и не вернул. С припиздью же старик. Но вам-то он и не нужен! Говноедов мне найдите!

На этих словах дядюшка открывает калитку. Нат шагает первым, затем, улыбаясь мелко трясущимися губами, идет Сантьяго. Я тоже двигаю к калитке.

— А ты куда, птенчик мой? — громко спрашивает вдруг дядюшка.

Я разворачиваюсь и вцепляюсь в калитку, как будто это последнее, что есть у меня в жизни.

— В гараже весь срачевник кто теперь убирать будет? Нельсон Мандела?

Пацаны тоже замолкают и смотрят на дядюшку. Сантьяго улыбается еще шире и протягивает мне открытую ладонь.

— Ох, амиго, — весело говорит он. — Семья тебя не забудет! Твой жертвенный, самоотверженный путь. И твое желание помогать даром! Мы сегодня потусим за тебя.

На этой фразе глаза его округляются, он с внезапным страхом смотрит в лазерные очки дядюшки Коршуна и резко тараторит:

— ...после того, как найдем говноедов, разумеется. После этого сам бог велел... Отметить победу.

Я замечаю на губах под острым носом дядюшки ухмылку.

— Закрывай ворота, — сухо командует он мне.

Парни удаляются. Дядюшка разворачивается, командует: «За мной» и уходит вглубь своего участка. Я послушно плетусь по его стопам. Вдруг за нашими спинами слышен голос Ната:

— Роман Фомич, а где живет старик Тычинкин?

— Что? — хмурится дядюшка.

— Старик Тычинкин. Он раньше моим соседом был. Я бы проведаль его.

— Георгий Иванов-то?

— Да. Он. Георгий Иванович.

Дядюшка сплевывает, сверкает из-под бровей лазурью, пристально смотрит на Ната:

— Да рядом тут. Через французскую горку перевалите и увидите его делянку. Бывайте, щеглы, не балуйте. Мамкам привет!

Он делает пару шагов, потом поворачивается:

— И это... На французской горке не курите. Усекли?

13:45

— ...да ладно, забей. Разгребет там хлам весь этот, сплаваает на тот берег за продуктами, поотжимается на скорость да домой поедет, как и хотел. Здоровей только будет, — говорит Сантьяго, жуя травинку. — Вот тебе не все ли равно? Да тебе вообще должно быть приятно, что его сейчас запрягут, как ишака. После всего, что он тебе сделал.

— Он мне ничего не делал, — все с той же улыбкой отвечает Нат.

— Нат, ты святой человек, — остановившись, заявляет Сантьяго. — Это, может, и хорошо, если ты собрался делать карьеру где-нибудь ну, не знаю, в «Красном кресте». Но, ё-маё, амиго, послушай. Так ты никогда не найдешь себе в этом мире места. Надо хвататься, понимаешь?

— Найду. Когда-нибудь.

— И где? — ухмыляется Сантьяго и выплевывает травинку.

— Не знаю. Посмотрим, — безучастно отвечает Нат и продолжает шагать.

— Ладно, проехали. Ты, кстати, не знаешь, почему горку называют французской? И что там за стена стоит? Из щебня какого-то.

— Это не щебень. Это каменная кладка. Я что-то слышал про это. Еще в конце девятнадцатого века французы взяли в аренду кусочек земли за Ильменкой. Начали добывать там асбест. Они и вправду его добывали. Поставили фабрику, проложили дорогу, все было по уму. А потом вдруг обнаружили на этом месте золото. Об этом стало известно царскому правительству. Но дело быстро умяли. Через взятки. И жили дальше. Для прикрытия добывали асбест, а на деле — мыли золото. Но вот пришел семнадцатый год, и местный народ решил спалить их французскую фабрику. Ну чтобы неповадно было чужое золото мыть. Такая история. Вот теперь только одна стенка и стоит. А еще говорят, там иногда случаются не совсем обычные вещи...

— Это какие такие «не совсем обычные»? — хмурится Сантьяго.

— Да разные. Вот говорят... — начинает Нат.

Парни идут все глубже в лес. Из-за холма показывается кусок старинной каменной кладки.

13:45

Дядюшка Коршун щелкает выключателем в гараже. Вся эта несметная гора всевозможных вещей дышит на меня холодной сыростью и дрожит, будто в нетерпеливой истоме, под светом люминесцентной лампы.

Дядюшка шумно выдыхает и твердо, с нажимом вдруг спрашивает:

— Ну, а если я скажу тебе, что ты лох?

— Дядь Ром, ну ругаться-то зачем?

— Лох, лохудра, лошье.

— Дядь Ром, ну хватит, — молю я.

— Ссыкло и соплежуйка, додик и ванька.

Его слова грохочут в гараже.

— Ты ведь не хотел сюда приходить, да? Они тебя вынудили, да?

Я вскидываю брови с такой скоростью и лицо мое принимает вид настолько жалостливый, что дядюшка уже не слушает. Я все равно мямлю:

— Ну почему, пацаны сказали, что нашли объявление о продаже...

— Ац-тавить! — орет дядюшка оглушительно. — Я что, по-твоему, первый год на Земле живу? Нашли фраера! Запомни, цыпленочек: птицу по полету видно, тут экспертом в психологии быть не надо: просто помолчи, послушай, что чирикает человек напротив, все поймешь. Вот жеж! Больше наглости я и не встречал никогда, даже от чичей в Грозном. Но у твоих корешей она настолько восхитительна, что все им простить можно. Но с ними ладно, пусть себе идут, жизнь каждого, как говорится, припечатает, их еще много интересного впереди ждет. Ну а ты? Ты ведь хотел отмудохать этого цыгёненка, хотел ведь? Слушай, ты хоть раз сопротивлялся сегодня? Ты хоть раз в жизни вообще сопротивлялся?

— Я много раз сопротивлялся. Говорил им, что не хочу ехать, — почти шепчу я. — Я даже хотел убежать.

— Ну, а они?

- Да бесполезно было...
- Что «бесполезно было»?
- Сопротивляться.

Дядюшка открывает дверь и выходит на улице. Он, шурясь, смотрит на солнце, будто где-то там, вверху, существует единственное сознание в мире, способное понять все его презрение к таким мудакам, как я.

- Эх, говорил я твоей мамке, надо тебя...

Он жирно сплевывает.

— Слушай сюда. Когда в твоей жизни случится такое, что сопротивление будет оказывать бесполезно, ты будешь его, это сопротивление, оказывать так, как никогда раньше. Поэтому пока в твоей жизни все идет своим чередом, и проблемы твои такие же смешные, маленькие и нелепые, как грудь у тринадцатилетней школьницы, будь ДОБР — он орет так, что я невольно закрываю уши, — оказывай сопротивление всякому, кто делает с тобой что-то против твоей воли. Дерись, грызись, пинайся. Если надо — беги без оглядки. Но делай только то, что хочешь... Или только то, что должен. А теперь назвался груздем — полезай в жопу.

Повисает такая мертвая тишина, что я боюсь дышать.

— Сейчас я пойду к Мане. Надо нам будет обворковать кое-что, обсудить детали грядущей свадьбы, дело это серьезное, это тебе не с этими хиппи шаробиться по окрестностям. Приду не скоро, про тебя забуду, потому что плотно займусь дебетом и кредитом. Надо нигерийские найры в наши рубли перевести, чтобы грамотно все расходы распределить и себе на жили-были еще оставить. А ты — за работу. Перчатки найдешь в ящике верстака. Запомни — в первом ящике верстака. Ну и клюв собери, а то раскис че-то.

Хлопает дверь. Дядюшка проворачивает ключ в замке. Я громко матерюсь и плюю на пол. «Суходрочь левой рукой».

13:47

— Я в эти байки не верю, — ухмыляется Сантьяго и достает из кармана пачку «Балканской звезды», — хотя, конечно, слушать такое интересно. Блин, все эти призраки. Жуть так-то, если подумать!

Он шелкает зажигалкой. Пьезоэлемент отсырел, искра не срабатывает, поэтому Сантьяго пробует опять и опять. Он торопливо переключает бензонасос под мышку и снова шелкает зажигалкой. Нат в этот момент задумчиво осматривает мощную стену, возникшую прямо в лесу, между сосен. Кладка громоздится ввысь, в ней есть какие-то окошки, выступы. Стена, несмотря на дефекты, вполне крепкая. Тут Нат обращает внимание на частые щелчки за спиной. Когда он оборачивается, Сантьяго наконец-то удается раскурить сигарету.

- Арсений... — выпучив глаза, шепчет Нат.

— А? Тебе оставить? Прости, амиго, не в этом случае, тут последняя, — сосредоточенно смоля окуроч, отвечает Сантьяго и для доказательства сминает в руке пачку «Балканской звезды».

Но Нат не успевает ответить. За спиной Сантьяго, на вершине холма, вспыхивает пламя высотой в человеческий рост. Оно стремительно разлетается вправо и влево, как огромные крылья.

13:51

Распинав по гаражу хлам, я наконец прохожу к огромному верстаку возле самой дальней стены. Я открываю ящик и принимаюсь перебирать кучу старых рукавиц и перчаток. Они пахнут мазутом, сожем, резиновым клеем. Мне не удастся найти

ни одной пары без дырок. В бессильной злобе я достаю ящик из полозьев и переворачиваю его на пол. Что-то железное брякает о бетон.

Я переворачиваю ящик, вновь перерываю кучу рукавиц и перчаток и обнаруживаю на полу большой железный ключ.

«Делай то, что хочешь», — все еще звучит у меня в голове голос дядюшки. А может быть, голос все еще звучит эхом в самом гараже?

Я беру ключ, преодолеваю гору хлама и устремляюсь к двери. Ключ легко входит в скважину. Несколько раз проворачиваю, тяну дверь на себя и делаю долгий, неторопливый вдох. Вдох свободы.

Спешить мне некуда, поэтому я оставляю ключ в замке и медленно, достойно иду по тропинке к калитке. Дядюшка будет мной доволен.

13:51

Нат и Сантьяго обежали всю низину. И почему она называется французской ГОРКОЙ? Ведь это настоящая ЯМА. Горит везде — по всему периметру. Уже начинают забираться сосны. Мелкие язычки бегут вверх по стволам, будто пальцы пианиста, если, конечно, дьявол играет на пианино.

— Ты слышишь? — спрашивает вдруг Нат.

— Что? Что слышу? Что мы скоро сгорим? — чуть не плача взвизгивает Сантьяго.

— Голоса. Говорят по-французски.

13:57

Ну ладно. А что мне делать-то теперь?

Я смотрю на реку. Тысячи пузырей вдруг шумят у меня в голове. В альвеолы забивается речная вода, дышать хочется больше, чем жить. Зеленый, много зеленого. И несет тебя, и тащит, и обидно отчего-то, что все вот так вот может закончиться.

Плывать! Поплыву на плоту, справлюсь без них. Я медленно спускают к воде. А эти — пусть хоть весь день ходят по лесам. Это их рейв, это их головная боль. Я тут не обязан, как шалый, шататься в поисках всяких там насосов и ключей. Еще и по французской горке какой-то. Тут что у вас, форт Боярд? Хватит того, что сегодня я не увижу красные пятна, которые брызгают на ее грудь изнутри. Хватит того, что сегодня она не проведет своими тонкими, плотными губами влажный след до середины моего живота. Хватит, в конце концов, того, что я залил свою мобилу и теперь она бессмысленным грузом трепыхается, влажная, как селедка, в моем кармане. Дальше — без меня.

В таких вот триумфальных мыслях я останавливаюсь и смотрю в Ильменку, в эту широкую, бурлящую быстрину. Все о'кей, — говорю себе. Все в ажуре. Тот берег недалеко. Если перебираться аккуратно и без всяких там мудил с их таблетками, то это проще легкого, легче простого или как там.

С этими полными оптимизма мыслями я делаю шаг в воду и смотрю, как пляшут зеленые водоросли, струящиеся вниз по течению. Вдыхаю полной грудью. Я до сих пор помню этот подводный запах.

Плот лежит неподалеку. Я хватаю его и без особого труда тащу к рельсам, торчащим в небо. Я проверяю трос — он так же надежно соединяет два берега. Надежный, прочный трос. Мудак Сантьяго отпустил единственную направляющую, от этого и произошло крушение.

Перед тем как положить плот на воду, я снова гляжу на тот берег. Ни Геры, ни Боцмана нет — только бескрайнее поле дурнины, за которыми виднеется деревня Печки. Наверное, Гера поехал в магазин за папирами или типа того, а Боцман пошел домой отсыпаться. От этой мысли мне становится немного теплее — представляю себе

большого пьяного Боцмана, который дрыхнет дома, а на его широкой груди свистят в свинью-свистульку двое его молчаливых веснушчатых детей.

Я кладу плот на воду и тут же чувствую, как его подхватывает лихой поток. Его вырывает из-под моих рук, но я сдаваться не собираюсь. Одной рукой цепляюсь за трос, потом все же сажусь на постоянно уходящую из-под меня организованную массу пустых бутылок. Страх, поднявшийся изнутри на мгновение, вдруг утихает, а может быть, просто сосредоточивается в руках, яростно сжимающих трос. Спокуха. Трос хоть и крепкий, но старый, он порядком износился, и его ржавые металлические ворсинки впиваются в ладони. Но это вполне терпимо. Куда сложнее цепляться за кромку плота, чтобы он не ушел вниз по Ильменке. Я аккуратно тяну себя в сторону правого берега. Меняя руки и ноги, то цепляясь, то отпуская свое суденышко, я двигаюсь в нужном мне направлении. К свободе, мать ее. Никах больше бензонасосов, только полуденный секс во славу аутизма.

13:59

Дятел, поскрипывая своими винтажными туфлями об траву, достал изо рта хибарик, плюнул на свой мизинец и подлечил бумагу.

— Форшмак, — сказал он себе под нос и с сожалением уставился на скелет высоковольтки, видневшийся из-за холма. Провода протяжно гудели.

Дэн, собиравший барабанную установку, посмотрел на Дятла:

— Совсем фарш?

— Чуть звиздюлей от них не получил, вот че, — с достоинством сказал он, поглаживая свои волосы, заплетенные в тугую шишку на затылке.

— Короче, с завода у нас кабеля не будет, — констатировал кто-то в толпе.

— Давайте сами врубимся, вон же лэп, — прошмыгал Сгуха, но на него, как обычно, никто не обратил внимания.

— Стоило ожидать, — пробасил Малыш. — Сначала вы у них генератор уведите, а потом приходите просить розетку.

Дэн, высунувшись из-под флортома, крикнул:

— Да ладно вам! Гера с Разведчиком поехали в гараж, может, найдут замену. Херовину там какую-нибудь по типу. Ну или Сантьяго с Натом подтянутся.

Все то время, пока мы ходили по неведомым лесам, бригада решала, как жить дальше. Дятел вот сходил на завод и попытался честно договориться о врезке в систему электроснабжения. Ему чуть не наваяла сначала охрана, а потом и весь завод. Обзвонили всех знакомых механиков и все автосалоны. Действительно, бензонасос от генератора «ЗУ-2» — несусветная редкость. Сам генератор-то — какая-то несерийная вещь, изготовленная, видимо, для военной промышленности. Иначе как объяснить такие сложности? Приходилось рассчитывать только на чудо, на что-то хорошее.

Этим и занимался Антон Солнце. Разложив пластинки по боксам и закоммутировав все в неработающую саундсистему, он лежал на пледе и рассчитывал только на хорошие вещи. Беря по шепотке из небольшого цветастого вязаного шарика-сокса, он скручивал гербарий в папиросную бумагу и думал: «Ах, какие же хорошие у меня есть вещи!» Вещи получались примерно с полмизинца. С приятной асимметрией контуров, как бы стремящиеся по спирали вверх, в небесный эфир.

Суетной народ вокруг занимался звонками. Общая атмосфера не была накалена до предела, но как-то неприятно вибрировала, как бы закипая или, вернее, находясь каждый раз в микроградусе от закипания. Еще бы: вся тусня была на грани провала.

Сгуха шустрил вокруг толпы, чего-то все выжидая и почесывая свое прыщавое, белесое лицо. Оно и понятно: он торговал плохими вещами, а плохие вещи: а) уместны только тогда, когда тебе слишком хорошо, хорошо так, что аж нет мочи; иначе плохие вещи никому не нужны; будь всем плохо — Сгуха давно бы разорился, ведь он просто

изымает переизбыток хорошего, вот и все; б) могут получиться только из хороших вещей; то есть сначала есть нечто хорошее, а только потом плохое эманурует из него, а не наоборот. Сгуха хоть и не смог бы выразить смутные свои догадки в столь лапидарных тезисах, нутром истины эти понимал. Именно поэтому его и мучила тревога. Он у кого-нибудь стрелял, закуривал и тут же бросал в траву недобитые хибарики, он что-то постоянно щупал и жамкал, в том числе и свои многочисленные прыщи. Он делал все, но только не стоял на месте.

И только у Антона Солнце на своих полутора квадратных метрах индийского покрывала с нарисованным на нем древним сюжетом — искушением Будды — был полный порядок. Светила кружились в вечном движении, рождались дети, умирали старики и солдаты. И все это здесь — в этом рисунке и осторожном дымке, стелившемся по влажной, пахнувшей зноем летней траве.

Когда кто-нибудь проходил мимо острова спокойствия, Антон протягивал человеку хорошую вещь, а затем шепотом говорил:

— Все состоится!

Да, конечно же состоится! Не изменят же планеты ход, в конце-то концов, отвечали ему и тут же куда-то в спешке убежали в поисках электричества, спокойствия, винила, деталей, коньяка, сигарет.

Протарахтели ржаво-баклажановые «жигули двадцать-один-ноль-пять». Гера и Разведчик остановили мотор, вышли и открыли багажник. В нем, помимо моего велика, лежал целый набор железяк, измазанных маслом и мазутом. Помещалось все это добро на сложенной в несколько раз сдутой резиновой лодке. Ее-то, ухватив с четырех сторон, и вытащили на траву перед машиной.

— Откуда все это, бандиты? — обрадовался Дятел и тут же заметил мой велик, утрамбованный в недра багажника.

— У мамки твоей в косметичке нашел, — на полном серьезе ответил Разведчик.

Бригада кинулась разбирать железяки и придумывать из них разные комбинации, а затем по очереди примерять эти конструкции к бензогенератору. Но ни один из получившихся механизмов не подходил на роль топливного насоса. Казалось, что счастье так близко. Однако — то тут была не та резьба, то у трубки диаметр не соответствовал нужному, то старый, уставший металл очередного разъема рассыпался в руках. Один раз даже удалось запустить «ЗУ-2», он протарахтел, выплюнул облако черного дыма и снова заглох. Мужики не унимались. Командовал процессом Малыш. Через десять минут после начала конструирования его белая майка стала блестеть антрацитовыми пятнами технической смазки.

Дятел все это время рассекал по поляне и окрестностям на моем велике. Вскоре он ему надоел, и Дятел оставил велик возле вышки линии электропередач, а сам курнул оставшуюся пятку и уснул на полуденном солнце.

Тем временем Антон Солнце, поднявшись над всей Вселенной, а если быть точным, встав на своем плече, разглядел на пассажирском сиденье жигулей старую акустическую гитару. Как водится — с портретом-камеей некой романтической особы, прилепленном в верхний левый угол деки, с логотипом LEVIS чуть ниже струн. Эх, отличная ленинградская гитара! Антон растолкал мужиков, открыл дверь и взял инструмент.

— Бери, Антош, сыграй нам чего! — одобрительно крикнул Разведчик. — В гараже тоже нашли.

Солнце забычковал хорошую вещь, одернул прядь волос и аккуратно положил пятку себе за ухо. Он заиграл хриплую, немного развязную, но мощную слабую долю. Гитара звучала глуховато, однако так и надо было в этот жаркий, пропахший разнотравьем день. Солнце дугой прошел мимо орудующих с железом пацанов и направился к Дэну, который на тот момент закончил собирать установку. Через пару тактов Дэн разгадал намерения Антоши. Он улыбнулся, опустил веки и ударял

попеременно то в малый — женский, то в большой — мужской бонг. Мужики прекратили ковырять железо и перевели взгляд на музыкантов. Разведчик вытер руки лопухом, запрокинул голову назад, закрыл глаза и стал вальяжно отплясывать, лоя всем телом этот вселенский полуденный вайб.

Дэн твердо и уверенно колотил в бочку, прямо подхватив расслабленный, но уверенный риддим Антона. Бригада рассмеялась, все закурили по сигарете, а потом опять погрузились в конструирование.

Так каждый на поляне нашел себе занятие по душе. Дэн с Солнце играли долго. Все было на своих местах. И только сока с хорошей вещью на месте больше не было. Сок бесследно исчез. Но куда же?

Мы без труда пойдем это, когда спросим себя — «А где же Сгуха? Куда делся этот небольших размеров молодой человек с обильным юношеским акне?» А Сгуха, зачем-то пряча руки в карманах штанов, тихо двигался по просеке. Спустившись с холма, он увидел оставленный велосипед, прислоненный к скелету вышки ЛЭП. Рядом с велосипедом под палящим солнцем спал Дятел.

Сгуха задумался, безопасно ли брать велосипед, прислоненный к опоре линии электропередач? Тут надо было вспомнить советы с уроков ОБЖ в школе. Всегда беритесь за металл, который может быть под напряжением, только внешней стороной ладони, иначе ваши мышцы могут сомкнуться и тогда вам не избежать мучительной смерти. Итак, вспомнив все это, Сгуха проверил своим гниющим кулачком раму моего велика и, убедившись, что она в полном порядке, то есть не бьет нестерпимо электричеством, вконец обнаглел. Он сел на велик и поехал, едва справляясь с управлением, по ухабистой полулесной тропинке. Но все же, несмотря на сложную дорогу, иногда Сгуха успевал одной рукой найти на своем фейсе прыщ и, злобно сдавив его, почувствовать, как хрустит под пальцами эпителий, выпуская в атмосферу мерзкое содержимое.

Куда же ехал Сгуха, торговец плохими вещами? Куда же он торопился, спросим мы?

14:01

...и наконец плот уходит из-под моих ног. Мало того — он просто вылетает, радостно и быстро, как огромная льдина из-под ледокола «Таймыр». Я успеваю только вдохнуть побольше воздуха и схватиться двумя руками за направляющий трос.

Но тот висит совсем необязательно, как бы между делом. Он мне совсем не помогает, этот трос, и я снова оказываюсь полностью в воде. Какое-то время я держусь, но ржавая проволока впивается в ладони все сильнее. Наконец я разжимаю пальцы. И единственное, что мне остается, — дышать водорослями. Салатовыми, изумрудными, малахитовыми, короче, всеми оттенками зеленого. Это все досужие вымыслы кинематографистов, что тонущий человек бьется в воде и истошно зовет на помощь. На самом деле, если смотреть с берега, тонущий человек спокоен и сосредоточен, потому что боится потерять последний кислород из легких. Вот и мой кислород — O_2 — заканчивается так быстро, что у меня даже паника мгновенно исчезает. На смену сопротивлению приходит старушка-безнадега.

Ну дышать водорослями, ну и что с того? Слиться с этим зеленым, надышаться им на эпохи вперед. Дышать этими инфузориями-туфельками, этими циклопами, дафниями, этой речной слизью. Но почему-то все вовсе не так: я делаю вдох и вдруг вижу так много красного. Откуда здесь красный? Это капилляры в моих глазах лопаются? Ветренная позолота мгновений. Высохшая аристократическая тропа вверх по склону века. Ярость. Репейник. Анамнез. Зависть. Красный.

14:01

Красный. Все, что видит Нат, и все, что видит Сантьяго. Испепеляющий красный, прожигающий насквозь красный. Это чрезмерно красный, это inferнальный инфракрасный. Где-то вверху истерично трезвонит небольших размеров чугунный колокол. Кто-то совсем рядом яростно колотит палкой в пустое ведро. Ясно и громко кто-то рядом кричит: «Ле фу! Дэ лю! Дон ма дэ лю!» Он кричит истошно.

Но звуки — последнее, что беспокоит пацанов. Вокруг них жарит. Все объято пламенем — каждый сантиметр вокруг. Пламенем и дымом. В самое небо взмывают высоченные корабельные сосны, искореженные в смертельной, испепеляющей агонии. Сквозь гарь и пламя двигаются фигуры. Они кричат: «Ле фу! Дэ лю! Дон ма дэ лю!»

Периодически разрезая гарь и удушающий туман вокруг, мимо проносится объятый огнем человек. Разобрать, что он кричит, уже невозможно. Он смертельной кометой пересекает пространство и навсегда исчезает в клубах дыма.

Нат и Сантьяго пытаются найти выход, они, оглядываясь по сторонам, пьются назад. «Ле фу!» И они пьются, не понимая, что больше приводит их в этот ужас — запах гари, красный испепеляющий повсюду или эта французская речь? «Дэ лю!»

Так они и отступают — метр за метром назад. Каждый из них пытается вспомнить, как они оказались в этом аду. Они максимально быстро схватывают: надо быть как можно более спокойными. И они отступают шаг за шагом. Кажется, даже веет свежестью. Кажется, тут даже есть кислород, но Нат делает еще один шаг и упирается спиной в высоченную стену — надежную каменную кладку. От нее веет нестерпимым жаром. Стена устремляется в небо так же высоко, как кроны горящих вокруг деревьев. И хоть в стене и есть неровности и выступы, они слишком малы, чтобы можно было за них уцепиться. Карабкаться не получится, ведь как можно карабкаться вверх по раскаленной стене? Да и куда, скажите на милость?

14:03

И там, где-то под толщей воды Ильменки, за водорослями, где владычествует красный, где все растекается и твердых форм не существует, где не существует контуров и границ и все едино, именно там я и вижу Ната — впервые за всю жизнь не улыбающимся. Струи чистого красного цвета не дают мне сфокусироваться, но я знаю, что в каждом его белом локоне, в каждой складке его кожи на лице отчетливо читается: страх, смерть, разрушение, пиздец. Я вижу все это где-то на глубине, за водорослями. Я вижу много красного — много настоящего красного, который вдруг переливается радостной палитрой, смывая огонь. Яростный вздох, еще один — и еще несколько. Красный мгновенно растворяется. В меня проникает зелень, она здесь хозяйка. Зелень каждой отдельной водоросли прорастает в мое легкое. Из теплой прохлады Ильменки меня выбрасывает случайный валун. Я успеваю вздохнуть, и тут же опять проникаю в бесконечный зеленый, струящийся и даже радостный. Порядок и вещь, имя и число. Двадцать девять — так же изысканно, как холод среди июня. Двадцать девять — это срок, который обречены мотать отроки всех подземелий. Двадцать девять — это устремление всегда вглубь, где обнаруживает себя ясность и прозрачность каждой вещи, данная на поверхности. Двадцать девять слов. Двадцать девять точек после. Синева. Аберрация. Воскрешение. Иллюзия. Июль. Пропуск. Вакса. Проблеск. Насекомое. Завтра. Ересь. Стон. Тварь. Вереск. Простуда. Шорох. Распутье. Всплеск. Бильярд. Корень. Жердь. Сорок. Ложь. Пропасть. Ведьма. Минет. Чабрец. Фронтир. Пульс.

Он возвращается ко мне на берегу. Опять подушка из водорослей. И опять встречный трепет момента. Пощада и корысть. Помимо бурления Ильменки, я слышу ритмичный, назойливый стук. На берег, рядом со мной, одна за другой, но столпившись

в воде, как гигантская лягушачья икра, приплывают пустые пятилитровые бутылки, много, много пустых бутылок — обломки нашего доблестного фрегата.

14:04

«Ле фу! Дэ лю! Дон ма дэ лю!» — вот и все, что кроме приятного треска слышно в этом удушающем, раскаленном красном. Нат не улыбается. Сантьяго сжимает голову, будто боится, что она отпадет.

14:04

Первая же попавшаяся мне пятилитруха вполне пригодна. Я откручиваю крышку и, не без осторожности войдя в Ильменку, погружаю бутылку в поток. Она, нехотя бурлякая, наполняется водой и водорослями.

Я с трудом поднимаюсь вверх по склону. Я еще чувствую воду, будто бы мне теперь всю жизнь ею дышать. Впрочем, дальше бежать легко. На середине пути я понимаю, что не закрыл бутылку, но это уже и не важно. Запах водорослей начинает перебивать запах костра. Вначале приятный, но по мере того, как я подбегаю к его источнику, настолько въедливый, что я уже начинаю думать, что водоросли и вода намного лучше дыма и огня.

Тропинка резко поднимается вверх. Дыхания снова не хватает, теперь меня душит не вода, но все тот же дым, тяжелый и древесный. Еще и еще, бежать. Вдруг и я оказываюсь на краю огромного котла — именно так это и выглядит.

Великий адский котел. Горящая масса горящих домов, деревьев и людей. И посреди этого — непоколебимая стена буквой «Г». Добротная каменная кладка. Сжимая, как святой Грааль, свою пятилитровку в двух руках, я бегу вниз по единственной тропинке в это ужасное, великое пекло.

«Ле фу! Дэ лю! Дон ма дэ лю!» — все, что можно разобрать в этой мешанине из жары, красного и треска сгораемого дерева. «Ле фу! Дэ лю! Дон ма дэ лю!». «Ле фу!». «Дэ лю! Дон ма дэ лю!» — снова и снова, с разных сторон.

Я пытаюсь найти что-то, хоть какую-то тропку к стене, мне нужно именно туда, но жернова пламени колдуют вокруг.

«Дэ лю!» — слышу я хриплый, едва осязаемый голос внизу.

«Лю!» — свистит внизу кто-то.

«Дэ лю!» — снова повторяет он.

Трава, мгновенно пожухшая, горит под ногами как порох. Из тоталитарно красного виднеется кисть, объятая пламенем. Затем появляется рука, а за ней — крепкий, большой мужчина. Он ползет ко мне прямо из пламени.

«Дон ма дэ лю!» — хрипит он, плача.

Я смотрю на свою пятилитрушку, делаю несколько шагов и поливаю мсье водой. Он переворачивается на спину, открывает рот и сквозь воду и боль кричит: «Дон ма плю до!»

У него грязное, но красивое и сильное лицо. Его сюртук разорван, прямо под шеей видна большая блямба — не то ожог, не то сильная ссадина. Мужчина жадно пьет воду, потом начинает ее извергать обратно. Он выплевывает ее сначала редкими, яростными толчками, потом все мощнее и мощнее.

«Мерси, гарсон! Дю ву бенис!» — хрипит он. Вода из его рта льется на окружающее нас пламя и шипит. Он зычно закашливается. Все вокруг застилает уже не ярость красного, а проворность белого. Это пар, текучий, терпкий и теплый. Он рождает ситуацию. Ситуация рождает предел. Заплетаясь языками в невозможности собственного чистого голоса, звеня осколками распадающегося присутствия, приходит будущее. В промежутках между секундами нечто знакомое. Соль проела основания

вещи, ты позабыл фрагменты лучезарного генезиса любви. Жмет гидрокостюм тела, явь уразумеет сама себя в твердых параллелепипедах на трех осях. Сдвинешься с места — и течение сметет все, что осмелилось считаться прозрачным в своей безропотности. Переливать речную воду из сосуда в сосуд — несложно. Сложно не побояться вернуться обратно в реку. Не потеряться этому небольшому объему влаги в бесконечном потоке — невозможно.

Именно поэтому я замер. Я готов раствориться. Но белый пар делится на секторы. Белый пар проигрывает свежести лесного воздуха. Белый пар растворяется. Он тает, как нечто чужеродное и желанное.

Мои глаза, мой нос и уши — все на местах. Жар еще пульсирует отдельными фрагментами по телу, но в целом — все в норме. В норме и лес — нормальный, смешанный уральский лес. Единственное, что в нем смутило бы стороннего наблюдателя, — высоченная стенка, каменная кладка, взмывающая в воздух. Высотой она доходит до середины сосны. Кое-где — полуразрушенные обломки внушительных каменных ступеней, ведущих от тропинки. А так — лес как лес. Не тронутый ни огнем, ни великой электрификацией, ни капиталистами, если не считать капиталистами французов. Обычный лес, стоявший здесь и сто, и тысячу лет назад. Замечательный лес, вон и птицы запели.

14:31

Итак, вся эта возня с бензонасосом была Сгухе на руку. Ой, как на руку! Пока Сантьяго шорохается там в поисках никому не нужной детали, Сгуха все перепровернет. Ведь где тайник, знают только он и Сантьяго. Тупой, самодовольный, тщеславный и жадный Сеня Сантьяго. Настоящий жлоб! Маленький кудрявый черныш! Да какой там! По складу характера он типичный жиденок. Жиденыш. Жид пархатый!

Подбирая синонимы, Сгуха так увлекается, что чуть не проезжает нужный поворот. Он уже полчаса с огромной страстью крутит педали своего — то есть моего — велосипеда по дороге, ведущей из города. Он уже проехал бензоколонку и кладбище, уже обочина потянулась по лесу, а Сгуха все скрипит зубами, меняет руки на руле, чтобы успеть подавить прыщи, и все думает, какой же гад и жид Сантьяго, а какой же офигенный он, Валентин Фильченко, классный, скромный, симпатичный, в общем-то парень с небольшим юношеским акне. И какие все они, эти невменяемые животные, которые не следят за своим товаром, которые не могут ничего толком организовать, еще и называют его позорным прозвищем Сгущенка, олухи.

Резко выкручивая руль, чуть не теряя равновесие и не улетая в канаву, Сгуха сворачивает по едва заметной тропинке, ведущей прямо с дороги в лес. Крутить педали становится сложнее — велик плохо идет по высокой траве, но Сгуха, оставив наконец прыщи, хватая руль двумя руками и яростнее давит на педали. Велик поддается и въезжает на горку. Наверху Сгуха останавливается, чтобы перевести дух и проверить уже намоченный от пота мешочек Антона Солнце, который он положил в свой правый карман.

Дальше со склона колея идет получше. Видимо, грибники на своих машинах примяли. Когда Сгуха приходил сюда с Сеней Сантьяго пару дней назад, трава росла аж по колено, а теперь — вполне себе дорожка. Даже на велике можно проехать. Ну, спасибо, спасибо вам, грибники!

На следующем подъеме Сгуха оставляет велик возле кривой березы и бежит в лес.

Итак, думает он, пробираясь по лесу, а почему это его мучить совесть должна? Да не должна она! Причина раз — это он нашел продавцов. Это он вышел на барыгу. Скольких трудов это ему стоило! Сколько стремных, реально стремных людей он узнал, прежде чем вышел на этого тихого, ровного седого мужичка на аккуратной желтой «копейке». Все это подозрительно, конечно, но ведь он не угрожает Сгухе

расправой, не звонит посреди ночи. В бизнесе это называется конверсия: чтобы найти одну жирную сделку, надо провести много тухлых переговоров. Но все позади! Эта сделка была максимально удобной: деньги, тут же — товар на заднем сиденье «копейки». Да. Это он нашел продавцов... и он же нашел покупателя!

Спокойно, спокойно. В бизнесе это называется «ключевые показатели эффективности», или ки-пи-ай. Выше ки-пи-ай — дела твои лучше. Как повысить ки-пи-ай в данном случае? Все просто: чем толкать стафф на их гнилой тусовке, которая сегодня, скорее всего, уже провалилась, он лучше сделает это одним хлопком. Все и сразу — в одни руки. Вот такая вот наука менеджмента и экономики с их непростыми законами, мотай на ус.

Правда, тут надо будет сжать удила. Покупатель Сгухе не понравился, он куда как стремнее, чем продавец — сутулый, чалый, мутный, с лиловыми мешками под зенками, похожий на шакала Табаки из мультика про Маугли. Но вроде сговорчивый, только нагловатый. Сгуха встретился с ним в летнике неподалеку от заправки, быстро перетер и забил стрелку сегодня в четыре. Так вот, чтобы один раз сделать красиво и без сучка и задоринки, надо перепробовать кучу говна, а кто, как не он, Валентин Фильченко, знает всевозможный вкус разных говен, говн, говнин. Он просто эксперт по этой субстанции! Но — достаточно! Теперь никакого говна. Впарит таблетки этому шакалу, и будет покончено! Деньги, занятые у мамы, вернет. Хотя маме, в сущности, все равно, у нее этих денег — завались, как говна за баней, вон уже третий магазин открывает. Но довольно про говно! Впрочем, есть, есть еще над чем подумать — в товаре ведь еще и деньги Сени Сантьяго. Сгуха лопают очередной прыщ, глядя вверх, в летнее небо, пробирающееся сквозь кроны и как бы пульсирующее. Хватит думать! Сегодня он сбавит товар — и завтра его уже не будет в городе. Уже в эту субботу — Арамболь, пляжи Гоа! А Сантьяго будет валяться с похмелья после своей вечеринки, его обступят страхи и сомнения, злоба и бессилие. Так что все с ним понятно. Он и сам тип мутный, этот жиденок, как-нибудь перебьется. Его долю Сгуха присваивает как человек, который познал сущность конверсии говна в деньги.

Лес расступается перед горящими глазами Сгухи. По лицу течет ручьями пот, от чего раздавленные по дороге прыщи мерзко зудят. Он выходит на просторную, заброшенную делянку. Пейзаж — как у Шишкина на картине. Такое же поваленное дерево, только медведей не хватает. Но они сейчас тут нахрен не нужны. Как и грибки. Сгуха облизывается, оглядывается по сторонам — почему-то, когда он шел сюда, ему казалось, что где-то рядом раздастся треск веток. Но здесь никого нет, никаких тебе грибников, и Сгуха подходит к выкорчеванному корню. Забыл лопату! Но хер на нее. Земля еще свежая и теплая, коричневая, почти как... Да хватит уже про говно! Сгуха разрывает землю руками, пока его пальцы не упрутся во влажный, прохладный полиэтилен. Он бережно поднимает упаковку и в который раз радостно думает: не могу привыкнуть к тому, какой этот пак тяжелый. Какой же здоровый он! В нутрях его, под полиэтиленом, переворачиваются нежно-синие таблетки. Как на византийских фресках — такой спокойный синий с прожилками белого. Цвет божественной благодати и финансового благополучия.

Сгуха жадно смотрит на таблетки в плотном полиэтилене, а затем поднимает голову и прямо на уровне своих глаз видит, что по поваленному, полусгнившему стволу громадной сосны, в корнях у которой он только что рылся, по этому мощному и твердому некогда стволу ползают муравьи — мураши. Они торопятся по своим делам в разных направлениях, эти мураши. И от этого слова — «мураши» — у Сгухи начинаются натуральные мурашки. Сначала как приятный холодок, потом как зуд, и потом — как назойливый, невыносимый чес. Переложив пакет в левую руку, правой рукой Сгуха тянется к лицу, но, вспомнив про налипшую на пальцы землю, снова опускает руку и дергано вытирает ее сначала о внутреннюю, затем о внешнюю сторону футболки. Нетерпеливо он поднимает руку к лицу, к щеке, и начинает дергать

прыщи — один за другим, ища подходящий. Ему надо только чтобы один лопнул, только один, и тогда Сгуха свалит отсюда.

— Эй, дружок, — раздается сзади, — а тебе мама не говорила, что давить прыщи нехорошо?

Сгуха сначала думает повернуться, но от неожиданности только сильнее хватается за свою зудящую щеку.

— Про Скрябина, композитора, не слышал? Знаешь, как он умер? Выдавил себе прыщ грязными руками, и привет, сепсис. Заражение крови.

«Блядские грибники», — думает Сгуха и находит в себе силы повернуться. Прямо перед ним стоят два кота в своей серой форме. Два сержанта: старший и младший. Один из них, сняв фуражку и бросив ее на траву, резко приближается, прописывает Сгухе с правой под дых, а затем, повернув его в сторону поваленного дерева, шлепает лбом о полусгнивший ствол. Труха красочно разлетается в стороны. В самой своей сердцевине дерево еще не сгнило, оно достаточно твердо для того, чтобы от удара Сгуха отключился. Последнее, что он думает — ну какие, нахер, грибники? Сейчас же только июнь.

14:37

Как-то на удивление быстро всех отпустило. Никто не говорит о случившемся, будто бы это обычное дело — чуть не сгореть в лесу заживо.

Нет, конечно, по первой была и ругань, и много весьма крепких слов (скорее, риторического содержания, направленных вовне, а не какому-то конкретному лицу). Но под мою раздачу попал и Сантьяго. Мне достаточно было увидеть, как он украдкой выкинул в кусты пачку «Балканской звезды». Пока огонь плясал вокруг него, он лихорадочно сжимал ее в левом кулаке, а в правом не менее лихорадочно сжимал бензонасос.

Часть запаха дыма и гари постепенно выветрилась из наших одежд и волос, но часть запаха осталась с нами навсегда. И вот мы снова идем по прямой, заросшей лесной тропинке. Опять куда-то, как ни в чем не бывало, в поисках чего-то, будто бы это что-то спасет человечество. Да нет же, не спасет, на это и надеяться глупо. Просто другого нам не дано — вот и идем мы по этому бесконечному, сырому и очень летнему лесу. Иногда тропинка спускается вниз, тогда духота и запахи трав становятся такими плотными, что почти невозможно дышать — растения выпивают в этих низинах весь кислород, здесь и не атмосфера вовсе, а нечто совсем иное. Какая-нибудь там еще -сфера. Возможно, даже время здесь за ненадобностью останавливается. Вокруг нас кружат липкие и увесистые, как переспелые абрикосы, слепни. Они водят свой хоровод, не то подталкивая идти вперед, не то предупреждая о чем-то опасном впереди.

Постепенно мы снова обретаем дар речи. Сначала из звуков получаются совсем даже не матерные слова, потом — предложения. Человеческий язык первым вспоминает Нат:

— Все это меня удивляет. Удивляет своей непостижимостью.

Тут и я вспоминаю, как нужно говорить.

— Да непостижимого здесь хоть отбавляй! Например, удивительно и непостижимо, что я тут с вами со всеми делаю... Я вообще восхищаюсь превратностями судьбы, — скриплю я зубами, попутно отгоняя слепней. Но на меня уже никто не обращает внимания.

— Ты лучше подумай, почему все это происходит в день Солнцестояния. Мы неспроста выбрали именно этот день. Победа света, победа Солнца. Это день, чтобы достичь единства, — встречает Сантьяго.

— Ага, это с тапками-то твоими. Грех его не достичь, единства-то.

— Ты многого не понимаешь. Человеку дана возможность менять химию своего тела. Ни у одного животного на планете такой способности нет. Отчего же этим не воспользоваться? Ты просто скептик и крайний индивидуалист, ты ни к чему так не придешь. Из каждого своего путешествия ты будешь возвращаться тем же: и по химическому составу, и по составу души. Ты не коллективного действия субъект. А вместе с тем сделать что-то можно только вместе. Социумом. Сплотившись, понятно? Для этого надо немного вырасти над собой и над своими мелочными индивидуалистскими интересами... Трансцендируй!

— Трансцендируй, ага... и пизди генераторы между делом.

— Проехали, — по-хозяйски парирует Сантьяго. — Нат, скажи лучше, а ты правда Тычинкина знаешь?

— Нет. Я специально сказал. Чтобы правдоподобнее. Я его видел. По телевизору.

— По телеку? Он что, какой-то особенный?

— Не думаю. По телевизору ведь все врут, так?

— Да и не по телевизору вранья предостаточно, — говорю я и, наконец поймав одного слепня и скомкав тельце насекомого в увесистый липкий шар, кидаю его в Сантьяго.

— Что ты имеешь в виду? Люди сами хотят, чтобы их обманули. Взять того же Боцмана. Мульку с Захариком накинуд не я. Это он сперва завопил: «Захарик! Захарик!» А я всего лишь докрутил мальчика.

— Несчастный человек, — шепчет себе Нат.

— Кто? Я? Да я самый счастливый на свете, учитывая, что Кали-Юга никого не щадит.

— Нет. Я про этого Боцмана. У него явно проблемы. С алкоголем, — тихо поясняет Нат.

— Пф! Я тебе скажу, как раз и навсегда избавить страну от пьянства. Нужно просто поменять названия у всех алкогольных напитков. Легко распивать алкашку, будучи уверенным при этом, что ты исполняешь священную миссию русской нации. Ты обращал внимание, какие поэтические названия у водки? «Русский лес», «Рубежи империи», «Белая родина», «Народная». А вы назовите ее иначе. Сделайте распитие алкоголя непрестижным, и тогда проблема сама собой исчезнет!

— Сень, че ты мелешь опять? Ты вроде как и сам выпить не дурак, — останавливаю я его.

— Послушай. Во-первых, я потребляю алкоголь в целях исключительно рекреационных, я в этом смысла жизни не нахожу. А во-вторых, я делаю это осознанно и могу как пить, так и не пить. Так вот, возвращаясь к теме спасения страны. Я предлагаю насильственно сменить названия всех продуктов, содержащих алкоголь. Вот кто станет пить, например, водку под названием «Мужеложеская»? Или «Опущенный народ»? Или «Когда не стоит»? Или просто «40% раствор этилового спирта для дезинфекции ротовой полости после акта фелляции». Бля, да я лично за новый брендинг возьмусь! Я вам за неделю в стране пьянство искореню! И для пива у меня есть названия. Ну, например, можешь ли ты себе представить, что по улице будут ходить пацанчики с пивом «Любовники» или «Сладостный сатир моих грез»? Как, например, они будут покупать новые марки в магазине? «Девушка, дайте, пожалуйста полторашку “Гомоэротики” и баночку “Мужских соков”». Короче, у меня стратегия готова! А принты на этикетках я вот какие придумал...

Но я его уже не слушаю. Лес перед нами немного расступается, его удушающий, густой запах остается чуть позади. Впереди расстилается небольшая поляна, постепенно вырастает низенькая землянка, покрытая толстым слоем мха и щедро усыпанная елочными иголками. Рядом, через грядку, громоздится маленькая тепличка, сделанная из сотового поликарбоната. К дровнице прислонился старый мотоплуг марки «Урал». Все это — все эти вещи, не только землянка — как бы укрыто мхом, пожухлой палой

листвой, иглами, веточками. Все будто бы спит, укрытое под сенью времен. Мы останавливаемся и смотрим на эту картину. Спокойствием, тихим умиротворением и вялым теплом веет от открывшегося нам. Будто все эти вещи — и теплица, и мотоплуг, и дом — созданы не для человека, а для вечного забвения или, лучше сказать, для вечного божественного созерцания. Но где-то посередине пейзажа вдруг появляется движение. Две черные точки мелькают туда и сюда, переливаясь живым интересом. Это пара блестящих глаз наблюдает за нами. Пара смородинок-зрачков следит за нашими лицами.

На завалинке сидит маленький сухой старичок с аккуратной белой бородкой. Он улыбается.

14:52

— Репортеры, поди? — спрашивает голос откуда-то из-под лохматой бороды, ехидно так интонируя на гласные.

— Георгий Иванович Тычинкин? — спрашивает Нат.

— Это кто вам сказал, что меня так звать-величать? — чмокает старичок.

Мы переглядываемся. Нат делает шагок вперед:

— Роман Фомич сказал.

— Ах, он жук, Роман Фомич! С фамилией-то не ошибся.

Старичок глуховато смеется, легко вскакивает с завалинки, смахивает с коленок огрызки тыквенных семечек и хвойных иголок, поправляет на голове рыжий берет, с него тоже валяются труха и иголки.

— На да ладно, чего ж. Пусть буду Георгий Иванович! Хоть горшком назови, только в печку не ставь. Ну что? Поди спросите, пошто эт я из города срулил? Поймете ли?

Мы снова переглядываемся, не в силах ни утвердительно ответить, ни отрицательно. Просто полянка вокруг вдруг сама зашевелилась, все пришло в движение: спорхнула птица, прошелестел листвою лес над нами, покрывало из иголок, расстеленное по всей полянке, тоже будто бы задышало, ожило. Засеменил миллионом маленьких лапок большой муравейник возле сосны.

— Ну, это вопрос ваш регулярный, — добро улыбаясь, говорит старичок. — Вы его с завидной частотой задаете, не сморкаясь и не жужжа. Поймете ли? Включай свою кинокамеру, механик, — моргает он Сантьяго и показывает на бензонасос.

— А это и не камера совсем... — поначалу теряется Сантьяго, а потом хмурится и делает вид, что нажимает кнопку на абсолютно гладкой сизой стали бензонасоса. После этого деваться уже некуда, и Сантьяго, видимо, входит во вкус. Он наставляет на старика один конец трубки, а в другой смотрит, как в видеоискатель камеры.

— Знаю я, что не камера. Это универсальное записывающее устройство. Я не видел таких, что ли? Нам на заводе еще при кубинском кризисе такие показывали, мол — везде слежка. Жучки! Американцы-то давно уже таким промышляют. Ладно, чего это я? Как ушел из города, спрашиваете?

Старичок опять замолкает, видимо, выжидая реакции. Мы молчим. Через всю полянку пролетает бабочка-лимонница, за ней вдогонку — крапивница. А слепни, замечаю я мимоходом, куда-то вдруг отступили.

— Так вот, ушел-то неспроста... Не с бухты-барухты, не на авось, не с кондачка. И не скажешь всего, и не вышепчешь!

Старичок вновь умолкает, улыбаясь. А мы просто молчим, мы смотрим на все, что вокруг. И тишина эта, этот покой осторожно меняются. Как именно — нам сложно сказать. Почва под ногами шевелится, но — едва заметно глазу, как поверхность воды в тихий штиль.

— Перед этим, — закрыв глаза, продолжает старичок, — сорок лет на заводе

отпахал да бабку схоронил в землю. А вещью, основательно подвигшей меня удочки сматывать, так сказать, каркасом истории, было такое: захожу я как-то в туалет ночью, а там сороконожка на меня смотрит. Ну, такая, понимаете, как сколопендра, только масенькая и неядовитая. Ну, натуральная сороконожка, буквально с ноготь на мизинце длинной. Худющая...

Тут старичок вытягивает свой длинный желтый мизинец с почерневшим от земли ногтем. Он внушительно трясет пальцем, а мы смотрим, кивая.

— Ну, и говорю ей: здравствуй, подруга! А она будто бы на дыбы даже встала. Как собачка совсем. Вот так, понимаете?

Старичок, согнув руки в локтях, старательно изображает услужливую цирковую собачку.

— Ну ладно, сделал я свои дела, из туалета-то вышел, пошел на кухню сочень жевать. Сочень жую да думаю про себя: а чей-то меня это так удивило, ведь эти сороконожки — «литобиус пулкрам» по латыни — тут, на земле, были покуда нас еще не было. И отцов наших не было тогда, и дедов в помине. А теперь я пускаю ее как бы в свой туалет и удивляюсь еще. А все ведь напротив, поймете ли? Это они меня к себе пустили, вот эти древние подруги. Это я перед ней собачкой встал, получается. И ведь нечего терять теперь, если ты всего лишь собачка перед насекомым. И пошел я, и продал свою квартиру, и уехал сюда. И живу теперь, и каждой твари поклоняюсь. И мышке какой, и сове, и мошкам-букашкам, и червяку. И тебе, репортер! И тебе, дорогой уважаемый телезритель!

— Благодарю, — кланяется ему Сантьяго.

Тычинкин, закончив монолог, опирается голой ладонью о бревно в дровнице. Я в этот момент озадачено смотрю на Ната и вдруг вижу, что на его бледных щеках начинают проступать красные, неровные, будто очертания материков, пылающие пятна: именно так выглядело его лицо сразу после пожара. Он смотрит куда-то с восхищением и ужасом, его улыбка застывает, а уголки губ — тихо подергиваются.

Я поворачиваюсь и вижу Тычинкина, задорно улыбающегося из-под своей растрепанной, но каким-то непостижимым образом все же аккуратной бородачки. Вновь смотрю на Ната и вновь на старика. Тут до меня постепенно доходит: Нат смотрит не в озорные глаза старичку, а на его кисть, лежащую на поленище. Я пристальней смотрю на сухую кисть старичка и наконец все понимаю.

Длинных и узловатых пальцев его руки почти не видно, они будто бы утонули в вязком, черном дегте. Это не обман зрения. Вязкая масса действительно есть, она жива, и это не деготь — это сороконожки, личинки, муравьи, клопы и другие букашки копошатся, слившись в единый живой организм. Насекомые просачиваются сквозь бревна, сквозь щели в дереве и радостно ласкают длинные, худые старческие сухожилия. Они копошатся по всему запястью, они двигаются по руке выше, проникают под рукав. По открытой шее и лицу старичка пробегает сначала один скромный муравей, затем еще и еще. Тут за моей спиной слышится звонкий, неровный керамический стук. Это от увиденного зубы Сантьяго так щелкают.

Я набираюсь сил и спрашиваю:

— Дедушка, это ваш мотоплуг?

Он глядит в сторону «Урала». Насекомые уже во всю режутся в его бороде.

— Ото ж. Единственная вещь на моей делянке, которая имеет неприродное происхождение. Ну, помимо сотового поликарбоната... Вспахиваю им островок земли, мотоплугом-то. Сам-то стал стар на силы, не справляюсь. А мои друзья пахать не хотят, все зовут меня к себе.

— Ваши... друзья? — с отвращением спрашивает Сантьяго. Ему это не дается легко, слышно по артикуляции — он боится ненароком откусить себе язык.

— Мои друзья. Мои. И ваши!

Тычинкин семенит к мотоплугу.

— Двигатель внутреннего сгорания! — деловито говорит он, сердечно обводя рукою поверхность «Урала». — Сколько же разъединил ты, и сколько же воссоединил! Знаете, молодежь, сердце насекомых чем-то похоже на двигатель внутреннего сгорания. Я думаю, что единственный способ человеку жить вечно — это искусственное сердце. Маленький двигатель внутреннего сгорания! «Сердца пламенный мотор»! Поймете ли? Я знаю, о чем я говорю. Я в отделе двигателей внутреннего сгорания сорок лет проработал. Вот так, от печки!

Старичок ласково гладит бак мотора. Насекомых мы больше не видим, но зубы Сантьяго все еще стучат, а щеки Ната все еще светят красными неровными пятнами.

— После моей смерти, — шепчет дед, — мои мышцы станут из хитина, а мои кости соберутся в один большой двигатель внутреннего сгорания. Вот и заживем тогда.

Тычинкин продолжает гладить бак, руль мотоплуга, будто бы машина — это нечто теплое, родное и живое. Сантьяго перестает стучать зубами, но начинает забавно подтанцовывать, поочередно вскидывая плечи. Он уже давно опустил бензонасос и, кажется, вышел из роли телеоператора. Вдруг Нат делает шаг вперед.

— Мы как раз за этим сюда и пришли... — говорит он.

— За моим сердцем? — хмурится Тычинкин.

— Нет. Не ради него. Мы не совсем репортеры, Георгий Иванович. Вернее было представиться вам корреспондентами. А если точнее — членами-корреспондентами. Членами-корреспондентами Российской Академии Наук. Мы работаем в научно-исследовательской лаборатории. Изучаем возможности механики двигателя внутреннего сгорания. В области трансплантологии.

— Отдел дэ-вэ-эс? — вскидывает тонкую правую седую бровь старичок.

— Его научный сектор, — кивает Нат. — Так вот, нам сказали, что у вас есть ключ для генератора «Зу-два». Понимаете ли, это очень редкая деталь. Без нее дальнейшие изыскания не представляются возможными.

— Вот так, — вскидывает уже обе брови Тычинкин и, задумавшись, начинает чесать свою бороду. Большая сороконожка выбегает на поверхность в районе губ и шмыгает обратно в заросли в районе уха. Нат видит это, и опять на его белом лице вспыхивают ярко-красные пятна. Он собирается с силами и продолжает:

— Да, так.... Сейчас мы работаем над макетом большого искусственного сердца. На солярке. Могли бы вы дать нам ключ от бензонасоса? Мы здесь только за этим.

Тычинкин так щурит глаза, глядя на Ната, что кажется, будто бы он их совсем закрыл и спит. Он причмокивает губами и спрашивает:

— А тебе ведь тоже в тяжбу легонько, да?

— Что, простите? — улыбается Нат.

— Ну, не от мира ты этого, да? Вроде как моль.

— Да нет, дедуль, — на полной скорости тараторит Сантьяго, — он не моль, а просто альбинос.

Старичок задорно ухмыляется. По его морщинистому лбу, вдоль тонкой правой брови, проползает черный муравей.

14:52

Очнувшись на заднем сиденье котовской «девятки» Сгуха первым делом видит размытый силуэт кота, сидящего за рулем. Дымно. Пахнет ганджей. Серая униформа напоминает ему брезентовую куртку, в которой грибники обычно ходят за своими опятами — ну такие обычные, старые, брезентовые куртки. На секунду Сгуха даже верит в это совершенно полностью. Совершенно полностью — но на секунду. Но тут же вспоминает — ну какие опята в июне?

Трещит лоб. Сгуха тянется левой ладонью к месту ушиба. Лоб от прикосновения начинает саднить — здорово его припечатали. Сгуха пытается сфокусировать взгляд на

пальцах — нет ли крови? Крови нет, зато на пальцах остается труха и несколько трупиков раздавленных муравьев. Сгуха разглядывает это с пару секунд, пытаясь сфокусировать взор, а затем резко выпрямляется и в ужасе гадливого отвращения трясет рукой, издавая при этом высокое «И-и-и-и!» Лицо его от такого перепугу искажается, как если бы он, проснувшись поутру, обнаружил у себя в кровати гигантскую, размером с овчарку, муравьиную матку.

Рулевой резко делает по тормозам и вминает Сгуху в переднее кресло, на котором, он только теперь замечает, сидит второй кот. Оба кота резко поворачиваются в мутном ганджевом дыму и хором горланят, мол, ты че, вконец ебу дал. От двух неизвестных рож, от их лычек, от запаха ганджи Сгуха проваливается в какую-то крайнюю степень паники и уже не отдает себе отчета в дальнейших действиях. Он резко дергает за ручку двери, но дверь не открывается. Тогда он автоматом хватается за пуговку и поднимает ее вверх, снова дергает ручку. Дверь на этот раз распахивается. Сгуха вываливается из машины и пробует сделать шаг. Однако кто-то или что-то больно держит его за запястье правой руки.

— Пустите! — верещит он.

В ответ слышит густой издевательский смех. И смех этот настолько неуместный, что Сгуху враз отпускает. Он смотрит вокруг — лес поредел, впереди — обрыв заброшенного карьера. Коты весело палат на него из машины — из дыма видны только их носы. Сгуха собирается с мыслями и делает еще один шаг, но его что-то снова больно дергает за правое запястье. Он, наконец окончательно одуплившись, смотрит на руку и видит серый браслет наручника. Второй браслет пристегнут к подлокотнику двери. Растерянно Сгуха смотрит на котов, будто спрашивая — «и что мне теперь делать?»

— Садись, че встал-то, Сгущенка? — отсмеявшись, говорит кот на пассажирском. Он, видимо, умеет читать мысли.

Сгуха медленно усаживается. Дверь не закрывает, поэтому сидит в нелепой позе, вытянув правую руку из салона.

— В пещере что ли родился? — медленно спрашивает кот на пассажирском.

— Нет. В Златоусте.

Кот за рулем начинает истошно хохотать. Он согнулся бы пополам, но ему мешают руль. Затем он тянется к полке на торпеде. Там уложена смятая жестяная баночка от колы. Кот берет ее, просовывает руку в цветастый сок, тот лежит рядом с банкой, достает оттуда щепоточку, укладывает ее бережно на подкопченный пяточок на баночке, чиркает зажигалкой и прикладывает губами к отверстию. Делает полную хапку, потом еще одну, прокашливается, но все равно делает третью хапку.

— Сука, абориген, — хрипло говорит он, очевидно, Сгухе, и снова начинает смеяться.

Сгуха почему-то не обижается на это «абориген», но про себя отмечает, что кот скурил всю горку в одного, даже не предложив товарищу на пассажирском.

— Дверь закрывай, — говорит кот на пассажирском.

Сгуха успевает его разглядеть. У него живое, большое, сытое лицо. С таким обычно играют в КВН и даже становятся капитанами команды, потом, правда, всю эту лабуду бросают и начинают продавать какие-нибудь запчасти для грузовиков в своем офисе. Че он в коты пошел?

Сгуха понимает, что сидит в очень нелепой позе и послушно закрывает дверь. Машина трогает с места. Кот за рулем продолжает покашливать. Вдруг Сгуха думает: «Они что, не знают, что мне скоро улетать на Арамболь?»

Кот на пассажирском снова, видимо, читает его мысли. Он, особо не поворачивая головы, спрашивает:

— Сгущенка, ты мне одно скажи. Ты куда намылился?

Сгуха сначала думает ответить про Арамболь, но вдруг передумывает и просто молчит.

— Вот с этим вот килограммом без ста грамм, куда ты собрался? Скажи честно? На побережье Индийского океана?

Сгуха продолжает молчать.

— Ну загнал бы ты его, а дальше что? Это ж неплохие такие деньги. Маме бы долг хоть вернул?

— Да, — отвечает пересохшими губами Сгуха.

С этого момента что-то в нем начинает klokотать, будто бы на медленный огонь поставили кастрюлю с холодным, наваристым супом.

— Это понятно. Ты ей, наверное, нормально так задолжал? Сколько? Двести, триста? Но мамке можно не отдавать, да? Мамка третий магазин открывает, у нее все в ажуре. В отличие от всех нас.

Сгущенку начинает дико трясти, щеки вспыхивают и жутко чешутся. Он дергается почесать, но наручники не дают.

— Слушай, Сгущенка, ты за свою старушку должен быть очень горд! Когда лет семь назад она открыла первый магазин со всеми этими бадами, с этим мумием, я аж охренел. Я подумал — ну ведь никто не купит. Ну ладно бады, но вот мумие — это ж говно, в буквальном смысле. А потом народ как пошел! Сколько же у нее бабок, а? Ну ты же из приличной семьи, Сгущенка. Зачем полез в это все? Неужели тебе денег мало? Мамка столько говна продает, что тебе должно хватать на нормальную жизнь.

Машина вдруг останавливается на небольшой опушке возле самого края карьера.

— Слушай, — опять поворачивается кавээнщик. — Только что вот подумал. Торговать колесами — у вас это вроде как семейное, да?

Кот за рулем снова хрипло смеется.

— Только знаешь, Сгущенка... Если мать твоя торгует бадами, от которых ничего — ни голове, ни жопе, то ты решил пойти дальше. Ты знаешь, скольким мальчишкам и девчонкам это снесет башню? Ты пробовал вообще сам, чем торгуешь? Пробовал, спрашиваю?

Сгуха в отчаянии мотает головой.

— Молодец, Сгуха. Ты — отличный барыга, пять баллов. Нам бы таких побольше. А вот твой друг Арсений — не очень хороший. Не профессионал. Любитель. Салага потому что и торчок. Кстати, ты думаешь, ты один такой умный сюда приходил? Сеня вчера здесь был, только он не додумался забрать все. Он отсыпал себе немножечко да пошел восвояси. А тебе надо все и сразу, а?

Тут от внутреннего напряжения Сгуха задыхается, а потом, сбиваясь и кряхтя, выплевывает:

— Вы ничего не докажете! Мне нужен адвокат! У меня есть право одного звонка!

Сгуху трясет. Рулевой снова, как гиена, хохочет. Кавээнщик, деликатно подождав, продолжает:

— Слышишь, олень, в этом пакете столько, что тебе ни один адвокат уже не поможет. Ни адвокат на мамкины деньги, ни страсбургский суд по правам человека. Потому что там, в Страсбурге, защищают людей, а не животных. Да вот этого даже хватило бы, чтобы ты поехал далеко и надолго.

И кот сует под нос Сгухе краденный у Антона Солнце сок, полный ганджи. Сгуха смотрит на него и какое-то время не может ничего понять. Как бы пытаюсь вернуть ему память, кот берет маленькую щепоточку из сокса и бросает Сгухе в лицо. Будто бы это ритуал такой магический: возвращение памяти бросанием в лицо ганджи.

— А если бы у тебя в кармане груза не было, мы бы тебе, будь уверен, одолжили бы, — хрипит шакал за рулем.

— Ну как, товарищ старший сержант? — обращается к нему кавээнщик. — Приобщаем улику к делу?

— Никак нет, товарищ сержант, — отвечает тот.

— Это почему, разрешите осведомиться, товарищ старший сержант?

— Разрешаю. Потому что, товарищ сержант, эта улика мне самому чрезвычайно понравилась, — говорит кот за рулем и тянется к соксу, зачерпывает оттуда щепотку, кладет на сплюсненную баночку и поворачивается к Сгухе.

Сгуха смотрит ему в лицо — такое мерзкое бледное лицо с широко расставленными глазами, каждый из которых внизу снабжен лиловым мешком. Бровь у него одна — мохнатая, как щетка для обуви. Только посередине — не по годам глубокая морщина. Похож он на стремного шакала Табаки из мультика про Маугли.

— Здарова, Сгущеныш, — хрипит шакал и, присосавшись к баночке, взрывает.

У Сгухи мгновенно вспыхивают щеки, лоб, скулы. Чешутся они так, что хочется просто содрать кожу вместе с мясом.

— Узнал? — спрашивает шакал и выдыхает дым Сгухе в лицо.

15:00

— Как доберетесь до весьма косматой сосны, сначала — по тропке прямо. Потом — так, — говорит старичок Тычинкин и, вытянув ладонь вперед, резко поворачивает ее направо. — А потом — вот так. Поймете ли?

И он «ломает» ладонь в противоположную сторону.

— Так напрямки, а там и дорога, и дизеля бегают.

Видя мое озадаченное лицо, он снова повторяет жест.

— Сначала так и так, потом так и вот так.

Я неуверенно улыбаюсь и киваю.

— Так и так! — снова повторяет он жест.

Я киваю уверенней.

— Не трухай, комарик, — вдруг подмигивает мне Тычинкин. — Ты как клоп будь. Свое кусай, а другим не давай. Как прихлопнуть хотят — текай. Ну а вошь — на гребешок и — под ноготок. Поймешь ли?

Тянет переспросить, но вместо этого я кидаю тихое «спасибо» и бегу за парнями. Сантьяго уже скрылся из виду.

— Отделу двигателей привет! — кричит нам вслед старичок.

Но мы его уже не слышим. Мы с Натом едва успеваем догнать Сантьяго, который нервно подергиваясь то левой, то правой частью тела, быстро топают по тропинке. Двигается он чрезвычайно стремительно, даже не успевает сгибать ноги. Руками Сантьяго истошно машет вдоль туловища.

— Домой, домой! Солнцестояние!

Со стороны Сантьяго выглядит как человек, который неожиданно для себя занялся финской ходьбой, только забыл взять в руки палки. Он яростно втыкает пятки в мох, будто бы пытается раздавить невидимых насекомых. Его корежит не на шутку, он поминутно отряхивает что-то то с левого, то с правого плеча. Зрелище это сколь странное, столь и увлекательное.

Тем временем мы добираемся до весьма косматой сосны.

— Сначала прямо. Потом — так, а потом — так, — показываю я ладонью в воздухе.

— Это все детали, ненужные детали. Скорее! Скорее же! — скрипит зубами Сантьяго.

И мы двигаемся от этого действительно весьма и весьма косматого дерева налево. «Поймете ли?» — будто бы ухмыляется лес нам вслед.

15:25

И вот идем мы по колее, проложенной кем-то в лесу. Мы идем, не сбиваясь с пути. Еще чуть-чуть, и мы выйдем на дорогу с шустрыми дизелями. Иногда нам даже кажется, что мы слышим шум проезжающих машин, но это только шуршит ветер в кронах. Мы молчим. Нат достает из кармана маленькую кругленькую свистульку, расписанную китайскими драконами, и начинает тихо, неровно дудеть в нее, периодически делая паузы и вслушиваясь в эхо.

Если бы я изучал лекарственные растения средней, европейской и азиатской части России, то я бы обратил внимание на девясил и горец птичий, на ноготки, пастушью сумку, на хвощ, чистотел, на щитовник мужской, на венерин и капельный башмачок — на это все многообразие растительного мира у нас под ногами и вокруг. Но я просто, как и мои товарищи, шагаю прямо среди названных трав.

Когда мы понимаем, что свернули от весьма косматой сосны не в ту сторону, уже слишком поздно. Сантьяго так разогнался и так быстро и уверенно шагнул поначалу, что остановить его не было никакой возможности. Так мы изначально двинули совершенно в другом направлении, куда-то вглубь леса, и теперь вернее было бы не менять направления. Ведь дорога куда-то идет, а значит — куда-то да выведет. А дальше — какой-нибудь пригородный автобус с дачниками. Мне уже спешить некуда. Поэтому я никуда и не спешу. Меня уже никто не ждет.

Тут Сантьяго, видимо, от стресса там всякого, припирает. Нарвав листьев медуницы, он уходит с дорожки в лесок. Нат стоит, напялив смешной рыжий берет Тычинкина. Старичок подарил ему свой чудной головной убор вместе с ключом. «В знак признания великих научных устремлений», — сказал Тычинкин. Нат опять достает свистульку и начинает играть, а я вдруг понимаю, что другого такого момента у нас не будет.

— Нат, я должен с тобой поговорить, — начинаю.

— Едва ли...

— Это все сантименты. Давай к делу.

— Ну давай.

— Короче, к делу. У тебя с Ёлой все было по-настоящему. Но она тебя... Как это?

Не ценила что ли?

— Она ценила. Только по-особенному. Как все вы цените.

— Как все мы?

Нат тихо улыбается, не отвечая.

— А как же тогда было?

— Где было?

— Там в клубе, ночью.

— Там в клубе ночью она спросила меня, может ли она уехать с тобой. И я сказал: о'кей.

— «О'кей»? И все?

— И все. Так что ты мне ничего не должен. Тем более извиняться.

— Откуда ты знаешь, что я хотел извиниться?

— А что ты, просто поговорить хотел?

— Вообще-то, действительно, извиниться. Извини.

— Не стоит, серьезно. Я все понимаю.

— Но так ведь нельзя.

— Можно.

Кусты раздвигаются, и из них высовывается порозовевший, довольный Сантьяго.

— Эй, голубки! Смотрите там, что я нашел! Айда-ка!

Мы сходим с тропы вслед за Сантьяго. Я пристально смотрю под ноги.

— Сеня, только покажи место, где ты присаживался, а то у нас сегодня приключений предостаточно.

— Да все это фигня, а не приключения! — говорит Сантьяго взбудораженно. — Там целая канистра, пацаны!

— Как из-под твоего коньяка? — спрашивает Нат.

Мы выходим на небольшую светлую просеку, вполне для леса обыкновенную. Все здесь уместно: обыкновенное разнотравье пахнет июнем всюду, обыкновенные пни и сильно вдаль за лесом — прослойка сиреневых, будто что-то выжидающих гор. Единственное, что тут неуместно, так это огромная цистерна из-под горюче-смазочных материалов. Такие ездят по железной дороге, в них перевозят пропан-бутан, всякую там смолу, битум и, наверное, нефть. Цельная, громадная железнодорожная цистерна со всякими там номерами и буквами по бокам. Жирно, гордо выведен логотип «УралВагонЗавод». Все мы дружно прикидываем, где тут поблизости железная дорога. Даже начинаем осматриваться, может, мы в разговорах не заметили, как перешли одноколейку? Ну, может тут поблизости какая секретная ветка или вроде того?

Но ничего не обнаружив, мы хором вспоминаем, что ближайшая железная дорога как минимум километрах в пятидесяти. И находится она за озером, а это вообще ой как неблизко, даже дизель туда не проедет.

— Это ты эту цистерну канистрой назвал? — спрашиваю я, глядя на озаренного Сантьяго.

— Ну перепутал слова немного. Че докопался?

— Может быть, это бригады, которая лес валит? — нахмурившись, спрашивает Нат.

— А ты тут где видишь работы? — удивляется Сантьяго. — Где лесоповал? Где техника? Пилы, цепи, че еще надо там для работ?

Мы обходим цистерну. В ее торце я обнаруживаю надрез. Прямоугольный. Почти во всю вышину.

— Дверь, что ли?

Пацаны недоверчиво смотрят на меня, потом — на надрез.

— Кажись. Даже вот ручка есть.

— Верю, — спокойно отмечает Нат и аккуратно берет за маленькую петельку из проволоки, торчащую из тоненькой дырочки в двери. Нат тянет. Дверца бряцает, но не поддается.

— Ладно, компаньерос. Идем-ка отсюда, пока никого не встретили, — говорит вдруг Сантьяго. — Надо найти дорогу и вернуться, а то нас уже заждались.

Вернуться, ишь размечтался... И Сантьяго шагает вперед.

15:30

Все мы себя будто для чего-то готовим. Для какого-то особенного переживания, для чего-то большого. Сантьяго вот — для своего рейва, кто-то еще — для каких-то других несурзных прожектов. И мы забываем, что наша история ни за какой крюк не подвешена. Ни у кого нет ключей от невозможного и прекрасного будущего, каким бы невозможным и прекрасным оно там не казалось или каким бы там нам его хором не обещали. Нет, я вовсе не хочу сказать, что нужно жить здесь и сейчас, ведь это просто иногда невозможно физически. И дело вовсе не в том, что надеяться — глупо. Просто ничего уже не повторится. Все будет другим, совершенно другим, а это значит, что и готовиться к нему нет нужды. Понятно ли? Сейчас объясню все на пальцах.

Вот куда этот кудрявый кретин так спешит, скажите мне на милость? Какие такие блага ему там померещились? Ну, врубит он саундсистему, ну, потанцует народ, а дальше-то? Что он все суетится? Что я сучечусь? Разговор же не об этом, а о том, что все, что происходит, — происходит только с нами. Только с нами. Я поворачиваюсь,

чтобы сказать это Нату, но он так улыбается, будто бы и без меня все понял. «Ага, — говорит он своей слегка размазанной улыбкой, — с нами, чувак, с кем же еще?»

Тогда я подаюсь чуть вперед, чтобы сказать об этом Сантьяго, а то он убежал опять куда-то вперед. Я только хочу окрикнуть его, но он сам вдруг оборачивается:

— Пахнет дымом! — орет он и машет руками.

— Эй, может, дыма на сегодня хватит? — кричу я в ответ.

Но Сантьяго бросается вперед, перемахивает через небольшую горку. Мы ускоряемся. С вершины видим: Сантьяго стоит возле высоких ворот из профнастила. Довольнехонький.

— Цивилизация! — истошно орет он. — Ох, сейчас стрельнем папирос, как же я курить хочу, аж зубы чешутся!

Мы идем к Сантьяго. Огромный забор висится прямо среди леса впереди.

— Ворота открывай! — хватается Сантьяго за ручку и тянет на себя.

И он распахивает ворота и делает шаг внутрь.

— Цивилизация! — кричит он. — Эй! Есть кто живой? Курить дайте!

За забором открываются дома, какие-то строения из прозаичного серого кирпича. Возле них — движняк, ходят люди, откуда-то негромко играет музыка.

— Сеня, — осторожно зову я.

Но он меня не слышит. Он поворачивается и с видом человека, которому подарили автобус, тараторит:

— Блин, братва, кажется, я знаю это место! Это ж пионерский лагерь! Я сюда в шестом классе ездил!

Тут-то до меня все и доходит. Но уже слишком поздно. Сантьяго, однако, продолжает:

— Помню вожатую! Светлана Валентиновна звали! Уволилась уже, наверное. Блин, я знаю, у кого стрельнуть сиг — у дворника Арсенича, мы у него спирт покупали всем отрядом. Ну, че встали, айда!

Мы смотрим на Сантьяго, на желтые фигуры, которые скользят за его спиной из зарослей. Огромное желтое покрывало, как флаг, развивается на мгновение над головой Сени, как социалистический флаг над свободной Кубой, а потом опускается, скрывая его из виду. Еще за секунду до этого он смотрит на нас с внезапной гадливостью и отвращением, как моряки смотрели на гнилое мясо в фильме «Броненосец Потемкин». Понять не могу — что же он так впилился-то, куда? Но тут же желтая пелена застилает мне глаза. Я чувствую несколько твердых рук, они скручивают меня вдвое, втрое. Мгновение — и меня уже толкают куда-то вперед. Повсюду — спешный топот десятков пар ног и мой собственный скрип зубов.

— Вы тащите свою цивилизацию везде, всюду! В океаны и в заповедные уголки! В наш святой дом! Но вам этого не удастся! Мы спасем себя. Мы спасем вас!

Я почти максимально склонен к земле. Жёлтая накидка сидит на мне неплотно, она периодически слетает, и я могу видеть свои ступни. Трава под ногами исчезает, появляется выжженный газон. У Сантьяго накидка и вовсе падет с головы. На секунду он замечает вполне красивую и прилично выглядящую желтую «копейку», припаркованную возле ворот.

— Вы проникли на территорию Желтых Жнецов и Свидетелей Озарения. Теперь мы спасем вас!

— А Арсенич работает еще? — успевает выкрикнуть Сантьяго, прежде чем его бьют под дых.

Меня тоже сильно толкают в бок, и я иду, что остается делать? Собраться и подумать. И идти.

Ну, теперь-то понятно?

15:05

Сгуха смотрит в лицо шакала так, будто бы оно значит что-то кроме того, что оно просто есть. Шакал еще раз присасывается к бутылочке, выпускает струю Сгухе в лицо. От тумана в тачке тот уже давно словил маяки — или это его с собственного адреналина так прет.

Шакал смотрит на кавээнщика.

— Пошли, — говорит он и откладывает баночку на торпеду.

Коты синхронно выбирают из тачки. Дверь Сгухи открывается. Кавээнщик достает ключи и отцепляет наручник от ручки, жестом показывает — мол, выметайся. Сгуха и встает, че еще делать-то. Он выбирается и тут же чувствует, как вибрируют его колени — мерзко, мелко, противно, просто как мамина массажная машинка.

Кот-кавээнщик тем временем хватается Сгуху за левую и четко, уверенно накидывает на его запястье браслет. Секунда — и вот Сгуха стоит с руками за спиной и смотрит в открытое небо — обрыв карьера всего шагах в двадцати. Теперь небо пульсирует куда как заметнее. Такое, блин, летнее небо, о котором только рассказывать или вспоминать можно, но которое отчего-то никогда, сука, сам не замечаешь, только если в особо важные моменты жизни.

Шакал на небо вообще не смотрит. Он даже на Сгуху-то не смотрит, он смолит сигарету — медленно и задумчиво. Сгуха заканчивает всю эту лирику с небом и сам смотрит Шакалу в глаза — мыльные, красные от ганджи. Затем Сгуха переводит взгляд на его лычки. Ну почему он не сел на палево три дня назад, когда впервые увидел эту физию в пыльном летнике на окраине города? Ну ведь сразу понятно, что кот — по этим ублюдочным широко расставленным глазам, по общей надменности, ущербной усталости во взгляде.... Да ни хера не понятно, если честно. Такой взгляд и такие повадки у каждого второго мужчины в стране, читай — у каждого мудака. Смотри в это лицо: брезгливая покорность своей судьбе. Просто мутный тип со сросшейся бровью и морщиной посередине — как у всех любителей покурить.

— Пошли, — говорит это лицо Сгухе.

И Сгуха чувствует толчок в спину. Ростом Шакал поменьше Сгухи, хотя и Сгуха не сказать, что высокий. От его прикосновения Сгуху сначала берет оторопь, но вдруг находят силы, смелость, и он говорит:

— Если вы думаете, что я сейчас вам дам показания, то вы ошибаетесь. Я... — на этом месте Сгуха противно дает петуха и прокашливается.

— Пошли, — только и отвечает кот-шакал.

Он толкает его к карьеру. К самому краю. Кот-кавээнщик в это время просто смотрит в сторону.

— То, что вы договаривались со мной в кафе — еще ни о чем не говорит. Проверьте ваши записи, вы же писали эту встречу! — чирикает Сгуха.

Шакал толкает его в спину.

— А сегодня я забрал таблетки, чтобы привезти их вам! Я все осознал, я решил прийти с поличным!

— С чистосердечным, — поправляет его кавээнщик.

— Пошли, — повторяет шакал и снова подталкивает Сгуху.

До обрыва остается шага три.

— Стой тут, — глухо говорит шакал и хлопает себя по поясу.

Сгуха послушно стоит. «Что за говно», — вертится у него в голове. Хочется почесать лицо. Сзади какой-то шорох.

— Блядь, Дима, — говорит шакал кавээнщику.

Три шага.

— Не буду же я из табельного. Принеси из багажника.

Кот-кавээнщик Дима возвращается к машине и открывает багажник. Шакала тем временем начинает подтрясывать, это видно даже затылком.

Кавээнщик возвращается, идет быстро. В его руках — пистолет с какой-то пластиковой бутылкой на стволе. В бутылке что-то телепается — какая-то металлическая стружка или типа того. Все это добро замотано изолентой. Выглядит довольно нелепо, как, блин, скворечник, слепленный садиком ЗПП под предводительством похмельного дворника. Кавээнщик передает пистолет Шакалу.

— Отвернись и не смотри, — сипит Шакал.

Сгуха тяжело дышит, всхлипывая. Только сейчас он понимает, что та мелкая дрожь из коленок теперь одолела все его тело. Сгуха думает: «Че это я трясусь как мамин массажер или как резиновый член с моторчиком?» Он медленно отворачивается к обрыву и смотрит сначала вниз — там растут молодые березы. Карьер глубокий, до верхушек берез метров десять. Потом Сгуха смотрит в небо. Оно пульсирует, как огромный полиэтиленовый мешок с голубыми таблетками на ветру. «Хорошо, что туч нет, до самолета на Арамболь съезжу на озеро, искупаюсь», — думает Сгуха.

15:10

Итак, что мы знаем про желтых?

Если вы смотрели новости лет 10 назад по центральному ТВ, то, наверное, видели истории про пропавших мальчиков. Родители отдавали их в разные спортивные секции. Обычные такие секции при местных раздербаненных дворцах спорта. Сначала пацаны подавали надежды, им выдавали желтые спортивные костюмы и увозили на соревнования куда-то на Урал. А потом — хоп, и нет пацанов. Куда девались все эти мальчишки, не знал никто. Однако существовали причины считать, что все это было связано с сектой Жёлтых Жнецов. Формально же взятки с них были гладки, желтые ни при чем, они просто люди, которые любят собраться в местном ДК и попеть не то песни, не то мантры. Они всего лишь живут на территории одного бывшего лесного пионерского лагеря, выкупленного неизвестно на какие шиши, и только. Наверное, у каждого в городе был диковатый страх относительно этих желтых, и чтобы не напрягаться, чтобы не думать себе лишнего, люди договорились считать их эдакими безопасными фриками, которые никому в общем-то не мешают. Но каждый себе по-тихому проецировал на этих мутных граждан свои тревоги и ужасы. И правильно: кто знал, что там у них творилось в этом полузаброшенном пионерском лагере, да и зачем знать?

В городе нашем нередко были такие истории: разведенный муж, или там жена, которой изменили, или какой-нибудь бывший наркоман, или бывший солдат первой чеченской с посттравматическим синдромом оставляли семью и уходили к желтым. Для нашего города это была не редкость. Люди, в чьей семье случилась такая тема, обычно говорить про ушедшего родственника не любили, как не любят говорить про отклеившиеся на самом видном месте обои. Поэтому подробностей никто не знал: разрешено ли адептам писать письма, звонить родным, курить сигареты? Во всяком случае, на калитке я не увидел почтового ящика. И знака, запрещающего курение, тоже, кстати.

Что там еще? Говорили, что заправляет всей этой петрушкой старая толстая баба Прасковья. В общем, да, обычные фрики, чего мы тут не видели.

Продумав все это, я немного успокоился. Видимо, нам просто не надо было вторгаться на территорию этих ребят. Сейчас нас отпустят, когда поймут, что мы без злых намерений и принесли мир с любовью напополам.

Вот под ногами замигал обычный бетонный пол — такие по всей России в детских садах, дворцах культуры, школах: серая поверхность с белыми точками щебня, отполированная тысячами ног до едва пористой структуры.

— Амигос! — верещит тут Сантьяго. — Я за солнце и жатву обеими руками! Да будут поля космической пшеницы цвести и золотиться!

Нас резко выпрямляют. Я вижу Ната в смешном берете, вижу Сантьяго с выпученными глазами. Успеваю оглядеться — человек десять в желтых балахонах плотно окружают нас. И хотя вокруг темно, их желтый с непривычки слепит. Лица у них добротные, кормят тут, видимо, хорошо. Самые из всех — Нат и Сантьяго. У второго сейчас еще глаза как у филина, ну а Нат чуть потерял свою отрешенность и почти не улыбается. Хотя очень старается.

Мы стоим в темном сыром коридоре, окруженные недовольными незнакомцами. Их не выражающие совсем ничего глаза глядят в нас. И тут один из них — самый маленький и толстенький, похожий на маленький чайничек, — вдруг смотрит на Сантьяго, а затем на каждого из нас. Он закрывает пельменеобразные глаза и говорит:

— Тише. Тише, пришельцы. Мы идем слушать слово преподобного Мауса. Закройте рты. И откройте уши.

Чайничек распахивает дверь сразу за мной, и несколько желтых рук толкают нас внутрь.

Здесь просторно. Впереди — большая сцена, чуть подсвеченная желтыми софитами. Стоит полная тишина, и только шелест длинной одежды окруживших нас дает аккуратное эхо по помещению. Чайничек идет впереди, но тут мешкает и встает на месте. Конвой послушно останавливается. Воспользовавшись секундой, я оглядываюсь. И сразу же, впервые за то время, как мы оказались в компании этих джентльменов в желтом, я по-настоящему, не на шутку пугаюсь.

Мы стоим в большом зале — такой есть в любом уважающем себя пионерском лагере. В здоровом таком зале, где проводятся концерты, дискотеки, всякие там родительские дни и прочая культурно-досуговая вакханалия. Но сегодня, судя по всему, никакой дискотеки не планируется. На откидных креслах, ровно расставленных от самой сцены до противоположной стены, сидят плечом к плечу десятки, сотни людей в желтых балахонах. Мужчины, женщины, старики, едва оформившиеся чуваки-подростки. Руки у всех аккуратно сложены в замочек и смиренно уложены на колени. Все они поочередно недолго разглядывают нас, а потом, видимо, не найдя ничего примечательного, отворачиваются и безучастно смотрят на сцену. Стоит тоталитарная, мертвящая тишина.

Наконец Чайничек находит наполовину незаполненный ряд и делает знак конвоирам. Нас толкают в узкий проход и усаживают в кресла. Между мной, Натом и Сантьяго сидят по два желтых. Чайничек, вставший возле ряда кресел, вдруг поднимает руку. Тут я замечаю человечка перед сценой. Он видит знак Чайничка, кивает в ответ и удаляется в дверку кулисы.

Через пару минут свет на сцене резко гаснет. Тишина просто звенит. И в ней бьются три наших сердца. Сердца никого кроме здесь не бьются, или под желтыми балахонами их попросту не слышно.

— Сиблинги мои! — раздался голос в колонках.

— Ж-ж-ж-о-о... — протягивает одними губами зал.

— Мои дражайшие сиблинги! Мои солнечные братья, мои не менее солнечные сестры! В этот день ничто не омрачит наших чаяний. Ни искусственный дождь над нашими крышами, ни выходки заблудшего, ни его лазутчики, что встали на путь разрушений и зла и должны покаяться, чтобы спастись. Да пойдет солнечный неф наш по желтым волнам!

Краем глаза я замечаю, как Сантьяго привстает. Если абстрагироваться от всего происходящего, в этом движении можно даже прочитать нечто вроде восхищения — ого, мол, как тележит! Это только если абстрагироваться. Но соседи этот порыв, видимо, не ценят, сразу четыре желтые руки хватают Сантьяго за плечи и бухают его назад.

— Они раскаются. Они принесли нам то, чего не желают сами. Но сиблинги мои! Не о том. Все не о том... Есть свет, и есть жниво.

— Ж-ж-ж-о-о... — снова протягивает зал.

— Сегодня для вас выступает преподобный Маус. Откройте уши свои!

— И закройте рты, — хором протягивает зал.

— Правильно, правильно. Молодцы, — совсем уж по-учительски говорит голос.

На сцене резко вспыхивает зеленый луч. Тут же раздается фруктовая, кислотная музыка с шумными и въедающимися сразу в спинной мозг электронными ударными: будто бы группа «Руки вверх» скурила по жирному джоинту и записала совместку с Aphex Twin.

В зеленый луч боком вплывает высокий сутулый гражданин, одетый как обычный менеджер по продажам в средней конторке: джинсики, черная рубашка, мокасины на босу ногу. Гражданин сначала будто бы робеет и ужасно себя перебарывает, но потом кататонично начинает дергаться под музыку, словно бы каждый удар рабочего барабана двигает весь его мышечный скелет нестерпимой адской болью. Каждую секунду лицо его от судороги меняется. Он то улыбается, то скалится, то высовывает язык. Члены его тела двигаются независимо, каждый по своей причудливой траектории. Кажется, что руки с ногами у него на сошедших с ума шарнирах. Тут я замечаю в правой его руке беспроводной микрофон. Проигрыш заканчивается, гражданин не без усилия поднимает микрофон к своим влажным губам и закрывает глаза.

— Нет! — протягивает он со скрипом искривленным от боли ртом.

Проигрыш продолжается, а голос гражданина неестественно гулким эхо раздается по залу. Звукорежиссер за сценой явно не считает нужным сдерживать себя в исследовании возможностей микшерского пульта.

Гражданин опять поднимает микрофон и низким и дрожащим, но вдруг волевым голосом поет:

Права геям! О да!
Права геям! О да!
Геям права, геям права!
Я стою на своём!
Я приду к вам с огнём!
Прямо сейчас, прямо сейчас, о да!
Дайте, дайте геям права!

Электрический орган в колонках делает ядовитый, полный отчаянного очарования пассаж. Гражданин в этот момент успевает сделать еще пару зловещих кататонических па. Вот он снова поет, еще увереннее:

Права геям! О да!
Права геям! О да!
Геям права, геям права!
И ещё кое-что важное:
Бесплатная медицинская помощь — каждому!

Опять звучит глючная рулада на электрическом органе. Чувак на сцене уже в полном измождении, он весь блестит от пота.

Доктор у дверей! Доктор вошёл!
О да!

Свет гаснет.

— Преподобный Маус исполнил для нас свою новую композицию — сюиту аллегро номер два, ля бемоль.

Толпа сдержанно аплодирует.

— А теперь — оркестр, — командует голос в колонках.

15:12

— Валера, подожди, — говорит кавээнщик у Сгухи за спиной.

Шакал уже поднял пистолет с этой смешной бутылкой на стволе, но тут останавливается и смотрит своим тупым красноглазым взглядом на коллегу.

— Наручники, — объясняет кавээнщик и кивает в сторону Сгухи.

Шакал зависает. Он явно не вдуляет, в чем дело.

— Он же потом улетит. Полезешь за ним или на память ему оставишь?

Кавээнщик ждет. Шакал продолжает тупо смотреть.

— Ему и пацанам из эска заодно, — спокойно говорит кавээнщик.

Шакал все молчит, потом глухо командует:

— Сними.

— Ключи у тебя, — с небольшим нажимом отвечает ему кот-кавээнщик.

Шакал ругается себе в нос и идет к Сгухе. Тот уже не стоит покорно и не разглядывает небо. Он вертит башкой, будто бы что-то обронил.

Шакал хватается за цепочку между наручников, начинает мешкать и нервничать — куда деть пистолет? Он зажимает его между ног и начинает шарить по карманам в поисках ключей. Он шарит и шарит.

— Потерял, что ли? — спрашивает кавээнщик.

— По ходу, — рычит Шакал, но не смотрит на коллегу. Он уже по второму кругу проверяет карманы и все ворчит что-то в свой острый нос. Он только собирается повернуться и что-то спросить у коллеги, как кот-кавээнщик плавно подходит к нему сзади и, сняв дубинку с пояса, бьет шакала прямо по затылку. Сросшаяся горизонтальная бровь шакала ломается ровно посередине, а за ней все его лицо от неожиданности и боли искривляется. Он заваливается вперед, но остается в сознании. Сгуху колбасит не на шутку, он периодически еле слышно выкрикивает короткие «а» и «о». Когда шакал заваливается на него, он, наконец, выходит из оцепенения и делает шаг в сторону. Шакал падает на бок, смотрит своими круглыми, полными ужаса, но все еще мутными, красными глазами по сторонам. Кот-кавээнщик со всего маха снова бьет его по голове дубинкой. На этот раз удар приходится в висок. Шакал закрывает глаза.

Сгуха давно развернулся, он смотрит на это. От громкого шлепка, с которым дубинка плюхает по голове шакала, он кричит «А!», будто бы в ногу ему впилась оса.

У кавээнщика дрожит правая рука. Наверное, и левая дрожит тоже, но этого не заметно — в нее он переложил дубинку. А правой, дрожащей, он зачем-то лезет в карман брюк.

— «Где они», блядь? — почти кричит он мычащему на земле Шакалу, доставая ключи. — Где они, блядь, могут быть? Они всегда были у меня, волчара ты шелудивая.

Сгуху контрожопит, будто бы на улице не плюс двадцать, а минус тридцать. Он что-то сдавленно шепчет, но покорно слушается кота-кавээнщика, когда тот отцепляет один браслет с руки Сгухи и защелкивает его на ноге мычащего в пыли шакала.

Сгуха, присев на корточки и обхватив колени, внимательно смотрит, как кавээнщик последовательно снимает с пояса шакала газовый баллончик, потом дубинку, потом вынимает пистолет из кобуры, подбирает другой пистолет с бутылкой на дуле, как он идет в машину. Сгуха все смотрит: вот кавээнщик достает из багажника плотный полиэтиленовый пакет с голубыми таблетками. Вот он подходит к самому краю обрыва, он рвет пакет, высыпает колеса на камень. Вот он яростно их топчет, прямо всю кучу. Топчет их и смешивает с пылью и песчаником, а потом краем подошвы остервенело пинает все получившееся в карьер. И вот он разворачивается, садится в машину и дает по газам.

Сгуха сидит и смотрит на поднявшееся облако пыли. Прохладно стало почему-то. И щека чешется. Левая.

15:22

Антон Солнце отложил гитару в сторону и кивнул всем аплодирующим. Братва давно все закоммутировала. Саундсистема была готова к использованию. Недавно пришли девушки, теперь они осторожно пили еще помнящее прохладу торговых залов вино из супермаркетов, поглаживая свои браслеты и постукивая по бутылкам крашенными в черный лак длинными ногтями. Девочкам нравился джем Антона Солнце и Дэнчика, маленького, похожего на Элайджа Вуда, сына майора ФСКН, лучшего барабанщика за Уральским хребтом.

Эти двое — единственные, кто на всей поляне умели извлекать стройные звуки из музыкальных инструментов. Электричества нет и, судя по всему, не будет. Братва закончила с конструированием. Несчастный бензиновый генератор стоял с разомкнутым контуром.

Ничего страшного. Ничего страшного. Девушки были рады, вон как радостно и многообещающе звенят браслеты на их тонких запястьях. Они ждали. Но так не могло продолжаться вечно.

Кто-то врубил техно на своей магнитоле в машине. Светило солнце, небо было дикое, мимолетное — после полудня, когда облаков нет, солнечный свет немного тускловат, будто лучи падают сквозь едва мутное стекло, будто бы солнце само плавится от своей жары. Кто знает, почему так? Но все равно небо было кайфовое. В такое небо хорошо смотреть, например, в последний раз в жизни, стоя на краю карьера. Не менее хорошо смотреть в такое небо в совершенно другой ситуации, когда вокруг все тихо и спокойно, когда знаешь, что жизнь впереди будет еще ох какая длинная, иногда скучная, а иногда — совсем нет.

Антон Солнце отложил гитару, посмотрел на Дэнчика, послал ему воздушный поцелуй. Дэнчик поклонился и поправил барабаны.

Солнце направился к своему пледу, к тому, на котором Будду искушает демон Мара. Там такие искушения! Там всякие черти вперемешку со сладострастными девами, несущими серебряные блюда с яствами на своих головах. По их идеальным телам стекает мед вперемешку с молоком. Между их ног расцветают лотосы. Эти девы — сплошное вождление, явленное во плоти. Они обещают самые грязные наслаждения, дающие самое чистое удовольствие, они обещают остаться с тобой навсегда, превратив тебя в один сплошной пульсирующий фаллос. Тебе никогда не надо будет просыпаться в восемь утра и ходить на работу, — говорят они, тебе не надо будет думать про долги и мыть посуду после еды, — говорят они, у тебя вообще не будет в жизни таких категорий, чувак, — говорят они. И за всем этим — за этим великим искушением — своими ужасными, жабыми глазами навывкате наблюдает кровожадный, черный и страшный, как семь собак сразу, Мара. Он думает: мать твою, Будда, ну нельзя же быть таким сухарем и ботаником, ну-ка, глянь на моих сучек, ну-ка, бля, глянь на них, гляди на мед, стекающий по их влажным чреслам, ты такие восхитительные соски когда-нибудь в жизни видел, а? У тебя вообще баба-то была, слышь ты, спаситель человечества? Мои девки сделают тебе хорошо. Давай раскуримся, Гаутама, успеешь еще помедитировать. Заманал уже со своим Просветлением, расслабься, че ты так напрягся?

Но у Будды не напряжен ни один мускул.

В общем, все было на этом красочном плеле. Не было лишь одной хорошей вещи, насыпанной в большой цветной сокс.

— Дорогие, кто-нибудь видел мой сокс? — чуть тревожно спросил Антон Солнце у народа. Но народ его не услышал, народ смеялся над растрепанным Дятлом, который только что вышел на поляну. Он вертел красным обгоревшим лицом и спрашивал про какой-то велосипед.

Солнце тоже рассмеялся. Видок у Дятла был и вправду смешной.

15:22

Низенький дядька брякает оркестровыми тарелками, туба выдает что-то неуклюжее, но довольно забавное. Остальная медь подхватывает.

В зале включают тусклый свет. Народ резко встает и хлопает в такт, потом разворачивается и начинает медленно течь к двери — такая желтая река вяло пробирается между рядов кресел. Они двигаются на выход под кабацко-маршевую музыку, разбитную и гордую одновременно.

Несколько рук берут нас под мышки и крепко держат. Наши конвоиры отрешенно смотрят на толпу, покидающую зал. И только когда последний человек выходит, нас начинают толкать к проходу. Нат в это время оборачивается и с улыбкой говорит мне:

— Трубач у них лажает. Безбожно. Убил бы.

Говорит он это так добродушно и мягко, что я даже захотел оказаться на месте этого трубача. Мне кажется, Нат убил бы его быстро и безболезненно, и смерть трубача была бы похожа на сон.

18:45

— Да что им всем, наконец, нужно! — кричит Сантьяго и вскакивает, задевая плечом гипсовый бюст Дзержинского. — Курить дай, начальник!

Бюст проворачивается вокруг своей оси, но не падает. Нат успевает остановить его в последний момент. Феликс Эдмундович своими гипсовыми глазами без зрачков сердито смотрит на Ната, будто бы тот — гнилая империалистская сука. В этом берете, который дал ему старик Тычинкин, со своей белой кожей, Нат и вправду похож на представителя старорежимной интеллигенции. Сантьяго с опаской втягивает голову в плечи, но потом разворачивается и начинает молотить в дверь.

Сколько мы уже в этой душной и тесной подсобке? Наверное, чуть больше часа. Дышать здесь вообще нечем, кажется, мы выдышали весь кислород. В кумаче, которым обернуты стены, в этих деревянных красных транспарантах с лозунгами и воззваниями, на этих бюстах, в этой наглядной агитации столько пыли, что я начинаю ощущать, насколько мои легкие потяжелели. Еще чуть-чуть, и воздух можно будет жевать. Тусклая лампочка над нашей головой — единственный источник света. Но от этого не рассеивается мрак на душе. Свет этот такой липкий и такой удушающий, что я бы предпочел посидеть в темноте. Однако мы все равно не вырубам лампочку. В довершение ко всему пахнет паштетом. Нат отыскал пару каких-то замотанных упаковок в пакете за собранием сочинений Сталина. Жрать хотелось так, что мы напали на паштет и разделили трапезу по-братски, не особо думая над вкусовыми качествами находки.

Сантьяго херачит в дверь с такой силой, что она чуть не слетает с петель. Где-то в глубине коридора снаружи слышны шаги. Ключ попадает в скважину, шелчок — и свежий воздух наполняет подсобку.

Пухлый чувак держит дверь и с ненавистью смотрит на нас через маленькие очки. На левом ухе у него здоровенная повязка, прикрепленная к пудовой голове многочисленными кусками пластыря. Один из кусочков держит дужку очков. Сам чувак похож на недовольного слоненка из какой-то детской книжки. Своими маленькими, едва заметными глазками за линзами он оглядывает всю каморку, вдыхает удушливую ее атмосферу и делает один резкий жест рукой: выметаемся, мол, мыши.

Мы выходим, Сантьяго глядит чуваку в глаза, глядит с вызовом и гонором. Тот отворачивается и проходит по коридору к свету. Он набирает скорость, резво петляет, но мы успеваем. Наконец он открывает еще одну дверь. Мы делаем шаг, и тут же

десятки желтых рук начинают ходить по нашим карманам. У меня забирают намокшую мобилу — единственное, чем я богат.

Нас вталкивают в небольшую комнату, полностью завешанную белыми простынями. Тускло светят небольшие прожекторы: они попеременно меняют цвет от кислотно-зеленого до ядовитого бордового. Вся комната пульсирует слабым светом, свет заползает во множество складок на простынях. Такой галлюциаторный, переливающийся всеми возможными оттенками свет. Какое-то замедленное диско, какая-то фабрика Энди Уорхола. Мы входим в легкий транс, оглядываясь, — после затхлой подсобки то ли от кислорода, то ли от цветомузыки нас буквально мутит.

Полутемнота комнаты четко делится надвое мерцающим лучом, исходящим из большого пузатого телевизора.

«Зверобой заказан нам на бракосочетание, фараоны закрыли веки космосу, ожидают неусыпной протяженности вещей. Опрокинув кувшины озер, выгибаются в блаженной испепеляющей алалии двадцать девять девственных стеблей. Разнотравье. Берега занесло пенопластом личинок. Крики из-за решеток. Ступени исчезают в клейстере ила», — доносится из телевизора.

Мы покорно встаем перед экраном. На нем полная, крепкая женщина, полузакрыв глаза, вещает в микрофон. Изображение изредка подергивается помехами.

«С игл каплет мгла самой короткой ночи полнолуния. Лобби. Скатываясь хлопком, искрясь запредельной алой лампой, фонтанируя образами во время трансформаций, тихо жметесь в тени сквозняк будущего. Ярит жмых спетого. Солнце диктует неорганическому геометрию без изъяна. Ты навсегда явствуешь, формально пребывая в ломких мгновенных стрелах, пронзающих антициклон и падающих в клейстер ила. Там и ищи обломки, завернутые в полиэтилен видимого», — говорит женщина. Она стоит на сцене — конечно же, на знакомой нам сцене. Внизу — сотни желтых силуэтов.

«Человек из Бангкока сторожит порядок здешних мест. Твоих ассигнаций мало, чтобы отвлечь его взор от пристального, неопишуемого, несравненного процесса. Там хоровод мусора на пустыре вступает в реакцию с солью под светом аргоновых фонарей, там пожары и моллюски не востребованного превращаются в расширяющийся зрачок полуночи. Просто ухватиться покрепче за края простыни, прикрывающей эту локацию, и свернуть ее в семь раз. Там будет спокойнее, легче, фатальнее. Плерома», — заканчивает женщина и сворачивается в тугой пучок света.

Экран гаснет. И вот только выйдя из оцепенения, я смотрю за телевизор. Там и обнаруживаю ее — девочку в обтягивающем желтом комбинезоне. Две широкие, соблазнительные, бесконечные черные полосы ползут по ее стройным бокам от щиколоток до ключиц. Сколько ей лет? Она слишком молода, но уже достаточно развита, чтобы понимать свою силу.

Она сидит на большом белом пластиковом кубе посреди комнаты, будто позируя невидимому фотографу. Она просто смотрит на нас, не меняя полулежачей позы. В ней столько непроницаемой наглости и какой-то извращенной власти, что все во мне рушится.

— Зачем вы пришли? — шевеля полными и блестящими, как сливы, губами, спрашивает она. Губы у нее в крупных серебристых пайетках, будто у поп-звезд ранних 80-х. В этих блесках отражаются все переливы тусклых прожекторов.

Мы втроем пытаемся взяться за что-нибудь твердое, так все это неожиданно для вестибулярки. Эта дева, этот свет, этот туманного происхождения пахнет внутри.

Первым очухивается Сантьяго. Он делает шаг к деве:

— Уважаемая... Моя уважаемая царица! Спасибо за ваше радушное гостеприимство!

Я бы хотел принести извинения от всего нашего коллектива!

Дева буквально режет его своими черными зрачками.

— Спасибо, что дали насладиться этой необычной речью на экране. Кстати, я уже лет десять не видел видеодвоек.

Я оглядываю телевизор и действительно замечаю, что это не просто телевизор, а настоящая старинная видеодвойка — слот для видеокассет расположен прямо под кинескопом.

— Моя сердечная, — продолжает Сантьяго, — знаете, мы пришли из тех мест, где люди живут не в таких идеальных условиях. Вероятно, поэтому часто заблуждаются. И, видимо, поэтому говорят про вас разное... неправильное! Вот, говорят, например, что вы куда старше. Также говорят, что вы не... как бы это сказать... не отличаетесь привлекательностью. Я вас представлял примерно как вот ту даму по телевизору... То есть по видеодвойке, разумеется! В общем и целом и я, и мои друзья, все мы приятно удивлены вашей красотой и молодостью!

Серебристые уголки губ девы едва заметно ползут вверх. Сантьяго ловит эту улыбку — улыбку женщины, которая, точно неопытный боксер, пропустила мощный апперкот комплимента.

— Мы — я и мои благородные, но невоспитанные компаньерос — имеем очень плохую привычку ходить туда, куда не надо. Примите мои извинения! У вас очень мило! Мне знакомы эти места, здесь некогда трудился мой друг Арсенич. К тому же желтый — мой любимый цвет! Я прошу лишь одного...

Сантьяго распален, он понял правила игры, ему по кайфу, однако дева поднимает руки и скрещивает ладони. Сеня замолкает.

— Сейчас мы вас отпустим, — говорит она и шелкает пальцами.

Выскакивают чуваки в желтом, они кладут перед ней на белый пластик куба наши вещи.

— Что вот это такое? Объясняй.

И она вытягивает перед Сантьяго слим с разбухшими синими таблетками. Сантьяго выгибается, как червяк, которого ударили электричеством:

— Дорогая Клеопатра, несмотря на мой юный возраст, я испытываю проблемы со здоровьем. У меня болит голова. Хроническая ретинальная мигрень, знаете ли. Эти таблетки мне доктор прописал.

Дева улыбается и показывает на топливный насос. Только сейчас я замечаю, что ногти у нее длинные, как у росомахи, покрашены они в какой-то яркий цвет — в меняющемся освещении очень трудно понять, что и к чему. Красный? Тыквенный? Синий?

— О, — смущаясь, говорит Сантьяго, — это важная деталь для одной нашей машины.

— Это очень важно?

— Это очень важно.

— Важнее всего?

— Важнее всего. Нас ждут друзья, и мы не можем их подвести. Мы планируем большие пляски. Во славу Солнца, к слову! В этом мы с вами имеем одинаковые ориентиры.

Дева вздыхает и закатывает глаза.

— И сколько ты с этого зарабатываешь?

Сантьяго, впервые с того времени, как начался разговор, теряет. Он начинает тихо дрожать.

— Заработаю с чего, простите?

— Со своих, как ты сказал, больших плясок.

— Моя сердечная, я не заработаю нисколько, — на этих словах Сантьяго морщится, будто глотает что-то очень горькое. — Это я делаю для друзей. Для людей.

Дева смотрит на бензонасос.

— Хорошо, — говорит она и чуть прикусывает серебряные губы. — Тогда забирай свою «важную деталь».

Сантьяго радостно кидается вперед. Девица брезгливо поднимает бензонасос и с небольшим отвращением протягивает его Сене. На мгновение их пальцы прикасаются. Сантьяго вздрагивает от этого прикосновения. Он оживляется, улыбается и всеми силами старается скрыть улыбку.

— Одно «но», — томно пожимая плечом, говорит она.

Сантьяго влюбленно смотрит на насос в своей руке, затем переводит оживленный взгляд на деву.

— Условие такое. Либо ты забираешь эту «важную деталь», — продолжает она, — либо вы уходите втроем.

— Отлично, — шлепает себя по ляжке Сантьяго. — Пошли, пацаны! Грасиас, моя сеньора!

Сантьяго подмигивает деве, разворачивается на пятках и успеваает сделать только полшага. Желтые чуваки выпрыгивают из всех этих темных складок в простынях. Один из них прописывает Сантьяго под дых.

— Ты меня не слушаешь, — устало говорит дева, полузакрыв глаза. — Повторю: либо ты уходишь отсюда с этой деталью, либо с друзьями. То, что должно остаться здесь, останется здесь.

Сантьяго прокашливается, потом смотрит на деву, на чуваков в желтом.

— А вы знаете, — вдруг говорит Нат, — у вас трубач сильно лажает. Сил нет это слушать.

Дева переводит взгляд на Ната, но Сантьяго вдруг перебивает ее:

— Позвольте, я заберу и таблетки тоже?

Ну неужели урод?

— Позволяю.

Сантьяго дрожит, как пес, он возвращается к кубу, на котором сидит дева, и хватает таблетки.

— Я могу идти? — чуть присев в притворном реверансе, спрашивает он.

Дева слегка кивает головой. Желтые чуваки расступаются, и Сантьяго уходит. Я, развернувшись, пытаюсь встретиться с ним взглядом. Но он прячет глаза за желтыми спинами.

— Хороший у тебя доктор, — улыбается девочка ему вслед. — Хорошие он тебе средства прописывает. За качество я могу поручиться. Как и все мои сыны и дочери.

— Почему? — застывает Сантьяго уже в дверях.

— Потому что это не таблетки. Это наша небесная лайола. Великое благо, которым мы делимся с миром. Каждый, кому не уготовано места на солнечном жнивье, уже не спасется, но в утешение найдет для себя небесную лайолу. Лайолы хватит на всех.

— Простите, мадам?

И дева указывает длинным ногтем на левую стену.

— Лайола — это наш подарок миру.

Сантьяго вжимает голову в плечи, будто бы ему хлопнули мокрой тряпкой по ушам. Он потерянно разворачивается и окидывает взглядом всю комнату: этот танцующий свет, желтых чуваков, нас, деву.

— Так таблетки вы, что ли, делаете?

— Мне кажется, или ты вовсе не против такого положения дел? — вздергивает тонкую бровь дева.

Я на секунду закрываю глаза и вижу переоборудованные в лаборатории корпуса бывшего детского оздоровительного лагеря. Я вижу сотни вальсирующих вокруг колб силуэтов в желтых балахонах с белыми респираторами на лицах. В колбах перемешивается ровная голубая масса. Сотни, тысячи колб с голубой пастой

опрокидывают в пресс, который день и ночь штампует и штампует голубые пилюли. Сотни желтых рук упаковывают свой товар и пушат их молодежи по всей стране. Тонны таблеток, вагоны.

— Думаю, я выскажу общее мнение всех жнецов, если запрещу тебе подходить хотя бы близко к нашему дому. А теперь иди, куда шел, — говорит дева, глядя прямо в глаза Сантьяго.

Тот вдруг мешкает, но ему не дают забыть, где он. Пара желтых толкают его к двери.

— Цивилизованнее надо быть, — с вызовом говорит он у самого порога.

— Что? — вскидывает вдруг брови дева.

Желтые останавливаются. Сантьяго трусливо смотрит на них.

— Повтори, — командует дева.

— Цивилизованнее. Быть надо, — отчего-то тоненьким голоском повторяет Сантьяго.

Дева еще выше вскидывает тонкие брови, отчего ее лицо напоминает какую-то древнюю зловещую маску.

— Я и есть цивилизация. Пошел вон.

Сантьяго выпинывают из комнаты. Дальше — по темным коридорам. И вот наконец он втягивает свежий воздух, наполненный ароматом хвои, влажной от июньского тепла. Перед ним тропа, и ведет она прямо к воротам. Сантьяго неуверенно улыбается и шагает вперед. За его плечами аккуратно шагают несколько желтых. Они уже не касаются его, просто идут по пятам, как две странные тени. Взгляд Сантьяго падает на желтую «копейку», та стоит возле самых ворот. Сантьяго проходит мимо и выходит за территорию бывшего детского оздоровительного лагеря.

19:05

А нас — меня и Ната — тоже толкают по темным коридорам. Щелчок — и мы опять в каморке. Запах тушенки выветрился. Горит та же тусклая лампочка. Но теперь каморка не пуста. В слабом свете угадывается длинная фигура человека.

Дверь закрывают.

Человек с интересом смотрит на нас, а потом вдруг улыбается.

— Приветствую. Будете томатный сок? Хороший томатный сок. Вкусный. И для связок полезно.

Мы с Натом всматриваемся в лицо человека, его трудно рассмотреть. Но через пару мгновений у меня уходят все сомнения. Этот гражданин — преподобный Маус.

— Не откажусь, — отвечает ему Нат.

Маус наливает в пластиковый стаканчик кроваво-красный сок, протягивает Нату. Тот с радостью выпивает.

— Что вы тут делаете? — спрашивает Нат, облизывая томатные усы.

— Обычно это моя примерка. Я в ней молюсь перед выступлением. И еще переодеваюсь.

— Молитесь? — подключаюсь я к разговору.

Маус наливает сок и протягивает стакан мне.

— Конечно, без этого никуда.

— Я думал, у вас только там молятся... Там, ну, в зале.

— Простите, а у кого это «у нас»? — обаятельно улыбается Маус.

— У вашей... общины.

Маус смеется залившимся, ярким смехом, оголяя ровные белые зубы.

— Уважаемый, я не из жнецов. Видите, на мне даже нет желтого балахона.

Он и вправду одет в обычный спортивный костюм.

— А кто же вы?

— Я — обычный артист... В необычном жанре.

Дверь щелкает. В каморку засовывается Слонёнок, он гундосит:

— Преподобный Маус, я хотел убедиться, что все хорошо.

— Все прекрасно, мой друг...

Слоненок открывает дверь пошире и засовывает голову глубже в комнату:

— Простите, преподобный, я не расслышал, — говорит он и поворачивается к Маусу вторым, не замотанным в бинты ухом.

— Я говорю, все прекрасно, мой друг! — чуть громче говорит Маус. — Я допью сок и дам знать. Мы мило беседуем с молодыми людьми. Кстати, мне кажется, они весьма голодные. Они, судя по всему, от безысходности съели консервы для моей кошки, я оставил их здесь, в пакете.

Слонёнок резко открывает дверь и с ненавистью хватается за шиворот.

— Мой друг! Мой друг! — кричит ему Маус. — Я прошу вас, без рукоприкладства, ведь это — сущий пустяк!

Слонёнок отпускает меня.

— Нельзя ли организовать молодым людям еды?

— Матерь не велела...

Маус огорченно вздыхает:

— Тогда не буду спорить с вашей обольстительной мессией.

Слонёнок закрывает дверь.

— Так что же вы за артист? — спрашивает его Нат.

— Мне трудно определить свой жанр, молодые люди. Просто я езжу вот по таким общинам, совершенно разным и непохожим, со своей авторской программой. Моя аудитория не так многочисленна, но очень преданна.

Он очаровательно улыбается и делает глоток сока.

— И что, — осторожно спрашиваю я, — таких общин, как эта... много?

— О, достаточно, достаточно, мой друг. У всех разные воззрения относительно надматериального мира, у всех свои боги... Или, скажем так, субстанции, помещенные на это в наши дни вакантное место. А сообществ таких — да, действительно много. Еще сока?

Он наливает сначала мне, потом Нату.

— Вот и все, — улыбается он, — готово. Последние капли. Божественный сок! А мне пора.

И он достает мобильный, делает звонок. Через минуту приходит Слонёнок. Маус выходит в коридор, но вдруг кидается назад. Он наклоняется и быстро хватается за пластиковый пакет, стоящий в углу коморки.

— Сценический костюм! — смеется Маус своими белыми зубами. — Чуть не забыл!

И на прощание он одаряет нас своей яркой улыбкой. Дверь закрывается. Я выключаю тусклую лампочку, сажусь на пол, облакачиваюсь на стену и, кажется, засыпаю. Над моим левым ухом осторожно начинается тихий, вкрадчивый шорох. Он баюкает меня.

Через какое-то время сон разрывает оглушительный лязг ключей. Нат включает свет. Шорох слева пугливо прерывается. Я поднимаю голову и вижу большую, мохнатую, серую крысу. Она сидит на страницах открытого тома сочинений Сталина и спокойно смотрит на меня, затем на Ната. Потом, схватив своими желтыми зубками точно такой же желтый клочок страницы, она нехотя уползает.

— Мы ждать не будем, — раздается в дверях.

Наш старый друг Слонёнок смотрит на нас своими маленькими глазками. Мы встаем и выходим. Слонёнок опять ведет нас коридорами, и вскоре выводит на сцену. В зале темно, пусто, только прожектор светит в угол сцены. Там сгруппировался оркестр. Музыканты устало и даже несколько испуганно глазеют на нас.

— Что ты там говорил про трубача? — слышим мы властный голос из-за кулис.

На сцену порывисто вышагивает дева. Теперь поверх ее эффектного комбинезона надета жилетка из искусственного меха. Она пересекает сцену, увлекая, помимо нашей ослабевшей воли, наши полные огня взгляды, подходит к оркестру и внимательно смотрит на каждого участника, будто бы прикидывая, за какую сумму она бы их продала. Те стыдливо опускают глаза. Дева поворачивается к нам. В руках у нее — спортивный шейкер со смузи.

— Ты, — показывает она на Ната своим длиннющим ногтем. — Я спрашиваю: что ты там говорил про моего трубача?

Нат смотрит, как она важно втягивает в себя коктейль через трубочку.

— Кстати, это же твое?

Она поднимает губы от шейкера и вытягивает руку. В ее пальцах — маленькая глиняная свистулька, на которой Нат играл нам в лесу. Он спокойно смотрит на свистульку, потом — точно в глаза деве.

— Лажает он у вас. Трубач так называемый.

Дева опять делает глоток из шейкера, будто забыв про Ната. Его это не смущает, он говорит:

— В ноты не попадает то есть. Да и техника так себе...

— Докажи, — перебивает она.

Нат, улыбнувшись, поворачивается к музыкантам.

— Пусть сыграют.

Дева тоже поворачивается к прижимающимся в угол музыкантам.

— Играйте, вам сказано.

Музыканты поднимают инструменты.

— Играйте, играйте быстрее, — крутит она в воздухе рукой.

— Пусть без трубы играют. Сначала, — уточняет Нат.

Оркестр начинает играть ту же тему, которую мы уже слышали. Звучат они не идеально, но сносно.

— Теперь труба! — перекрикивает их Нат.

Осторожный трубач, похожий на тушканчика, неуверенно вставляет в рот мундштук и начинает играть. Сначала тихо, потом погромче. Он и вправду лажает: если в середине фразы еще ничего, то со вступлением совсем беда. Нат мотает головой. Оркестр доигрывает такт и останавливается.

Дева поднимает свои тонкие брови и смотрит на Ната.

— Слышно? — спрашивает он.

Дева раздраженно выдыхает воздух и быстро подходит к оркестру.

— Так, — говорит она и протягивает шейкер со смузи трубачу, — поддержи.

Трубач робко ступает вперед, берет ее шейкер.

— А инструмент дай ему, — показывает она своим коготком в сторону Ната.

Трубачу это не нравится, он весь зеленеет и сжимает свои тонкие лапки вокруг инструмента.

— Ты меня слышишь? — визгливо спрашивает дева. — Я сказала тебе, отдал инструмент ему. А сам держи... держи мой шейкер. Если хочешь — попей.

Трубач набирается смелости и отдает трубу Нат. Нат держит инструмент и с интересом смотрит на деву.

— Играй, — говорит она.

— Я сыграю, — соглашается Нат. — Только верни мне ключ.

— Какой такой ключ? — помотав головой, спрашивает дева.

— Вы забрали у нас вещи. Там был ключ. Без него играть не буду.

Дева делает знак своим желтым подопечным. Через пару минут приносят ключ. Нат кладет его в карман жилетки и дает знак оркестру. Те играют. Нат ждет начала такта с трубой, ритмично качая головой и облизывая губы.

19:59

Сантьяго шурует сначала по ровной, хорошо прокатанной лесной дороге. Его дыхание только приходит в норму, он только-только меняет полубег на шаг и даже почти успокаивается, как вдруг за спиной отчетливо слышится шум двигателя. Сеня, спотыкаясь, кидается в лес. Оттуда, спрятавшись за сосной, он осторожно выглядывает на дорогу, по которой в облаке пыли проезжает УАЗ-буханка. Сантьяго успевает прочесть несколько слов на боках машины. Написаны они радостным, разноцветным шрифтом: «Корпоративы. Поминки. Обряды инициации. Авторская музыка для торговых центров и светских салонов. Преподобный Маус — эксклюзивные гимны для ваших празднеств и мистерий».

Сантьяго думает: «Нафиг эту дорогу» — и решает, что лучше бы ему пробраться через лес. Он взбирается на небольшую горку и, прикинув, что можно хорошенько сократить, если не менять направления, топает дальше, руками раздвигая жидкие кусты колючей дикой малины. Но вскоре сквозь зелень снова показывается пыльная дорога. Да твою ж!

В руке у Сантьяго — топливный насос. Он держит его как крест животворящий, чуть ли не перед собой несет. Он делает шаг, второй и потом бежит со склона, все больше и больше набирая скорость. Вылетает на дорогу Сантьяго головой вперед и тут же врзается животом в капот котовской «девятки». От такого нежданчика Сеня разжимает ладонь, и топливный насос летит куда-то в кусты.

Кот младший сержант, похожий на кавээнщика, тоже весьма удивлен. Он роняет сигарету в пыль. Он только что закурил и, опершись спиной о машину, разглядывал лес, прислушивался к шороху в кустах. Сантьяго приходит в себя, смотрит на машину, на кота, на его сигарету под ногами и приходит в ужас. Сам кот, тоже немного очухавшись, глядит на Сантьяго и улыбается.

— Куда бежим? — спрашивает он и закуривает другую.

Сантьяго ничего не отвечает. Округлив глаза, он собирает ноги в руки и бросается бежать, но тут же запинается и падает на землю, сильно ударившись подбородком. Кот делает несколько шагов и, присев на корточки, садится возле лежащего на земле Сантьяго.

— Не спеши. Давай сядем посидим, курить будешь?

— Буду, — отвечает Сантьяго и садится на жопу.

— Я тебя надолго не задержу, — говорит кот и помогает Сантьяго подняться.

Они садятся в машину. Сеня — на пассажирское, кот — за руль.

— Проедемся ненадолго. А потом, если захочешь, я тебя сюда же верну. Только херню свою подними.

— Херню? — не понимает Сантьяго.

— Ну да. В руке у тебя была. Вон туда отлетела, — говорит кот и показывает на кусты.

Сантьяго смотрит «туда» и морщит лоб. Через секунду он вспоминает про бензонасос. Он выходит из машины, лезет в кусты и скоро находит деталь. В это время мимо проезжает брендированная УАЗ-буханка.

20:10

Нат играет соло на трубе. Музыканты сначала морщатся от той свободы, которой веет от игры Ната, но потом, прислушавшись, начинают играть с большим энтузиазмом, с таким веселым огоньком и задорной небрежностью, будто бы в них проснулось то, что давно спало. Композиция подходит к концу, но Нат жестом показывает — еще раз! Они берут квадрат заново, и тогда Нат уходит в основной аккомпанемент, а рукой

показывает на тромбониста. Разгоряченный тромбонист уходит в отрыв и играет свое соло.

Мы разворачиваемся и видим толпу в желтых балахонах. Они столпились в зале возле двери и с интересом наблюдают за тем, что происходит на сцене. Оркестр, достигнув апогея в своем почти цыганском кураже, заканчивает играть. Чувак с тарелками даже присвистывает в конце. Сияющий Нат жмет руки музыкантам и, увидев народ в дверях, радостно им кланяется.

20:25

— Понимаешь, Сеня, — говорит кот. — Есть такое понятие в психологии — «фундаментальная ошибка атрибуции». Объяснить тебе, что это такое?

Сантьяго кивает. Кот задумчиво смотрит в окно, там неторопливо мелькает лес.

— Я сам недавно про него узнал, не думай, что я такой умный. Брали барыгу одного, а у него схроны в книгах, понял? Он такие в страничках тайнички вырезал и туда все свое добро ныкал. И вот один схрон был устроен у него в учебнике по психологии. Но начало книги не пострадало — первые две главы целые. И вот я сел рапорт среди ночи писать и прикололся. Остальные полночи читал. Ну, это детали. Так вот, в чем заключается эта ошибка? А в том она заключается, что когда кто-то другой облажался, то это он сам такой мудака. Сам виноват, усек? Ну, так мы думаем. Это внутренняя диспозиция, значит. А если ты в говнецо ступил, то это просто «так случается, с кем не бывает». Понял?

— Немного, — отвечает Сеня, хмурясь.

— Вот. Это внешняя диспозиция. Например, смотришь ты на полнейшего в своей пидорастичности ублюдка и говоришь себе: «Ну что ж ты такой пес-то шелудивый? Ну почему бы не быть чуть-чуть лучше? Почему же не быть нормальным? Не говнить там, людей не кидать, не быть такой невероятной мразью». И думаешь — ну тебя, сука, только могила исправит. И вот в этот момент, Сеня, ты фундаментально ошибаешься, с точки зрения современной психологии. Потому что кто-то смотрит на тебя и думает точно то же самое. Такая вот асимметрия действующего лица и наблюдателя.

Лесная дорога ровно расстилается перед «девяткой». За соснами начинает неторопливо гореть рыжий закат. Кот вдруг сворачивает и едет по другой дороге, менее накатанной. Сантьяго сильнее сжимает бензонасос в руке.

— Но понимаешь, Сеня, в чем подвох. Ведь переживать собственную ущербность — это не в наших силах. Это титаническую мощь надо. И тогда мы придумываем разные оправдания, обстоятельства там: работа, окружение, воспитание, бабок нет. И прочее, и прочее. «Не я такой, — говоришь себе, — а жизнь такая. Жизнь, падла, меня таким сделала. Сучья жизнь». И все в таком духе. Это я понятно веду?

— В целом понятно, только...

— Да подожди ты, — перебивает его кот. — Кстати, меня Дима зовут.

Дима протягивает ладонь и улыбается

— Сеня, — говорит Сантьяго.

— Да я-то в курсе, Сеня. Мы за тобой давно следили.

— Как следили?

— Да так и следили.

И Дима вкратце дает весь расклад: про Сгуху и его намерения, про договоренности.

— Контрольная закупка? — говорит пересохшим горлом Сантьяго.

— Нет, Сеня, — с улыбкой отвечает Дима и останавливает мотор.

Машина стоит прямо на высоком берегу небольшого лесного озера. Сантьяго хмурит брови.

— Нет, не контрольная закупка. Мы просто хотели забрать ваши колеса, чтобы их потом двинуть. Вот и все.

Сантьяго смотрит на озеро, пытаюсь вспомнить, был ли он здесь раньше.

— Я ничего не понимаю, — говорит он.

— Я теперь тоже, — с улыбкой говорит Дима и закуривает.

Они какое-то время молчат.

— Понимаешь, Сеня, — говорит Дима. — Бывают все-таки моменты в жизни, когда ты вспоминаешь про фундаментальную ошибку атрибуции. Чтобы понять, что к чему, конечно, требуются силы, и не факт, что они у нас есть. Но хотя бы раз попытаться-то можно, а? Всю эту психологию социальных ситуаций переломить, опровергнуть. Ходить по кругу, может, и прекрасно, но все же есть еще и другие геометрические фигуры. Это я не сильно грузу?

Сантьяго мотает головой, мол, нет, все понятно. Дима кидает окурок в озеро и садится за руль.

— Поехали, Сеня.

— Куда? — недоумевает Сантьяго.

— А куда скажешь, Сеня.

И вот котовская «девятка» снова едет по лесной дороге. По лобовому стеклу закат бьет длинными и упругими тенями сосен. Сантьяго смотрит в окно, будто пытаюсь что-то разглядеть в этом густом янтарном воздухе. Он пытается что-то сам себе доказать, но у него не получается. Тогда он мотает головой и трясет своими кудрями из стороны в сторону. Тут Дима останавливает машину.

Сантьяго выходит из «девятки». Кот дает заднюю, шустро разворачивается и едет прочь от Сени. Облако пыли, перемешанное с мошкаррой, зависшей в воздухе, пропускает сквозь себя ритмичные тени тонких сосен. Сантьяго чувствует, как внутри него в горячей тесноте что-то колотится. Вдруг машина останавливается, дверь водителя открывается. Выходит Дима, он срывается с места и бежит сквозь пыль к остолбеневшему Сантьяго. Он подходит еще ближе и ближе. Сеня почти уже не может дышать, он смотрит на правую руку кота и не может понять, что же он так крепко сжимает. А когда Сантьяго все же понимает, глаза его почти лопаются от ужаса, но бежать уже слишком поздно. Что-то в груди разрывает свою горячую, тесную клетку.

20:26

— Твой друг — потрясающий музыкант. Он в желтом потоке. А тебе остается только ходить возле. Но мы давно придумали, как научить таких, как ты, чувствовать свет солнечного жнива.

Чайничек сидит напротив и медленно, подбирая слова, говорит. В комнате переливается тусклый свет множества оттенков. Если бы я мог шевелиться, то я бы нашел розетку и выключил бы это глючное мельтешение. Но я не могу двигаться. Поверх желтого балахона на мне — тугие веревки.

Чайничек встает и дотрагивается до моего плеча.

— Как жаль в таких ситуациях... Жаль, что сейчас ты не захочешь сказать нам спасибо. А потом — не сможешь. Как жаль.

Над моим правым ухом что-то железно гремит. Из пульсирующего полумрака выплывает Слонёнок. Перед ним — медицинская тележка из нержавеющей стали. На ней какой-то врачебный инвентарь.

— Включи потоки Большой Матери, — говорит ему Чайничек.

Темнота передо мной расступается, из тонкого пучка появляется квадрат света. На экране видеодвойки — крепкая, полная женщина. Она стоит на сцене перед микрофоном. Глаза ее полузакрыты. Внизу, под сценой, трепещется желтая масса.

«Пора решиться на церебральный филогенетический анамнез бабьего лета, вернувшегося из пьяных голых ланчей посеребрянного сторожевого поста. Шербет весны растаял, сгнили стебли травы, обломались верхушки Melissa. Узоры

самоподобны, зимы лелеют рассудок бастардов. Листы порнографической стали укутывают теплотрассы. Раздобыть кресало для ироничного пламени знаков», — нараспев произносит она.

Справа вспыхивает огонек. На медицинской тележке, отражаясь о сталь, танцует пламя. Я замечаю добрую горсть голубых таблеток, уложенных в керамическую вазу. Слонёнок что-то помешивает в маленькой колбе над пламенем. Он сосредоточен и спокоен, его повязка на ухе переливается вместе с комнатой тусклыми оттенками. Под мерную речь женщины в телевизоре я чувствую, как лицо мое наливается теплом, как тяжелеют ноги.

Чайничек тихо улыбается рядом:

— О, ты еще не понимаешь, насколько тебе повезло. Всего один поцелуй, и ты сольешься со всем живым. И мертвым.

Тихая дрожь прокатывается по мне. Я двигаю плечами и чувствую, как веревки врезаются глубже в мое мясо.

«Едва ли расстелется покров власяницы над прозрачной кромкой бледного океана твоей кожи. Этой источающей запах парного молока поверхности больше подойдет войлок, свитый из теплых течений Гольфстрима. Закатать рукава солнцестояния и расстегнуть рубашу июня нужно до того, как соловьи совьют гнезда в маленьких узких карманах для зажигалок», — глухо доносится их динамиком.

— Каждый раз открываю в этих словах что-то новое. Невероятно, — говорит Чайничек, улыбаясь экрану.

Слонёнок поднимает вверх огромный шприц, наполненный мутной жижей.

— Послушай, — с улыбкой произносит Чайничек, — ты ведь не будешь сопротивляться?

Слонёнок делает шаг в мою сторону. Какая-то животная сила подбрасывает меня вверх. Нестерпимо врезаются веревки в голени, но кресло, к которому я привязан, не выдерживает. Его ножки разлетаются. Я успеваю сделать два шага, прежде чем слышен оглушительный визг Слонёнка. Я запинаюсь и валюсь на видеодвойку, и она с утробным «бах» падает на пол. Изображение подрагивает, но звук не заканчивается. Всхлип.

Пергамент кожи становится ломким под пристальным взглядом небесного ока. Ночь сегодня — это случайная тень, которую бросает тело планеты. Жирные, неповоротливые точки на небе не успевают вспыхнуть, они только зажигают свои брюха и тут же сметаются молодым и яростным рассветом.

Я чувствую себя древним. У меня почти нет плоти, она так податлива и слизиста, она почти вода. Поэтому я запросто ухожу от захватов десятков желтых рук. Наконец мужчины, внезапно наполнившие комнату, все же прижимают меня к полу. Это бесполезно, но я сопротивляюсь дальше, на молекулярном уровне меняя состав тела.

В переливающемся тусклом свете блестят очки Слонёнка. Он склоняется надо мной в блаженном оскале. Жало его шприца целится в мою шею. Если и бесполезно сопротивляться, то я буду это делать до тех пор, пока могу. Я — сама бесполезность, и всем целям, когда-либо существовавшим, придется мириться с моей инаковостью. Я — и есть поток, и меня не перенаправишь, не растворишь. Единственное, что может меня отвлечь, — глухой низкий хлопок, внезапно раздающийся в комнате.

Руки больше не давят. Желтые ошарашенно оглядываются, забыв про меня.

— Так, лесные говноеды. Руки прочь! Размотали его, быстро!

21:01

На поляне было тепло и влажно. Струился осторожный ранний закат. У кого-то в машине тихо играл хардкор. «You can stop the party, but you can't stop the future», —

по кругу раздавалось из колонок. Скучающие девушки стучали в такт своими черными ногтями по бутылкам с давно уже горячим красным вином.

— Почему вы вообще выдернули его? — спросила одна из них у Антона Солнце.

— Ёла, — серьезно ответил тот.

У нее было редкое имя Ёла. Всем мужчинам нравилось просто так произносить его, скользя кончиком языка по небу и далее в известном анатомическом порядке. Но вся эта фонетика тут была ни при чем, она не имела бы силы, если бы не ее бледные, гладкие, сильные ноги и ее черные, будто заряженные мощным, но тихим женским электричеством кудри. Она очень редко улыбалась, еще реже — хмурилась.

Антон посмотрел на нее, на лучи заката в ее окнах.

— Что, «Ёла»?

— У него, вроде как, долг.

— Денежный?

— Не знаю. Я просто слышал что-то про долг. Может, моральный?

— Что за глупости? — она наконец нахмурилась. — Я замерзла, могу взять твой плед? Вообще, мне надо идти домой. Да, и кстати, я скоро уезжаю из города. Надолго. Может быть, насовсем.

— Ёла, — снова зачем-то повторил Солнце.

21:01

Я поднимаю голову и вижу Сантьяго, стоящего у входа. В правой вытянутой руке он держит несуразную конструкцию: разодранную пластиковую бутылку, насаженную на ствол черного пистолета. Если не заметить пистолет, то кажется, будто Сантьяго размахивает кормушкой для птиц. В левой руке он держит бензонасос.

— Я буду стрелять и стрелять, пока мне не надоест. Жирному отстрелю не только второе ухо, но и все, что плохо приделано. Ты, — тыкает он дулом в Чайничка, — развязывай его. Поживей, гринго!

Чайничек, внезапно вспотевший, замирает, сосредоточенно глядя на вдруг явившегося Сантьяго. Трясущейся рукой Сеня наводит пистолет на видеодвойку. Раздается оглушительный выстрел. Видеодвойка тихо пукает и мгновенно затыкается и тухнет.

— Сука, надо было сразу глушак снять, Дима же сказал, — шипит Сантьяго с досадой.

Чайничек кидается ко мне и методично принимается распутывать узлы веревок.

— Так, — цедит сквозь зубы Сантьяго, вода пистолетом вокруг, — сейчас мы спокойно выходим на улицу и идем к себе домой. Не заставляйте меня нервничать.

Последняя фраза звучит как просьба.

20:27

Пыль на дороге постепенно оседает. Сантьяго все еще немного трясет, но теперь это не страх, теперь это волна почти священной эйфории катается по нему туда и сюда. Между делом Сантьяго думает, что это уж очень похоже на приход. А ведь никаких колес не надо, надо только испугаться до усрачки, а потом расслабить батоны. Вот тебе и выплеск серотонина — честно и легально. Он улыбается, стоя на этой пыльной дороге, он думает: «Господи, как же я люблю этого кота! Какой же он хороший человек».

Кот-кавээнщик тем временем еще раз показывает Сантьяго, как снять пистолет с предохранителя, как взвести курок. Сантьяго блаженно кивает.

— Понял? Вот так. И, наверное, надо глушитель снять. Ты ведь не собрался никого валить?

— Нет, никого не собрался, — с улыбкой на лице отвечает Сантьяго, — так, припугнуть.

— Ну, тогда точно сними глушак, а то получится фуфлово. Ну все, теперь точно пока!

Кот-кавээнщик хлопает Сеню по плечу и разворачивается. Сантьяго вдруг приходит в себя, он удивленно вскидывает брови.

— А ты куда?

— Да пойду искупаюсь.

— Искупаешься?

— Ну да. Лето же на дворе, а я еще ни разу не купался.

— Подожди, — озадаченно трет виски Сантьяго, — а потом?

— А потом — посмотрим. Прощай, Сеня. Будь молодцом!

И кот-кавээнщик бодро шагает к машине.

21:14

— Нат, пошли! Чего ты там встал?

Нас отделяет от войска желтых всего несколько шагов. Мы стоим во дворе бывшего пионерского лагеря. После душающего воздуха подвалов и каморок дышится легко, кружится голова. Толпа стоит спиной ко входу в здание, будто охраняя свои рубежи от злобных интервентов. Нат опускает голову и смотрит на свою трубу.

— Я не иду, — тихо говорит он

Сантьяго широко шагает к нему, держа пистолет в согнутой руке.

— Так, завязывай, пошли.

Толпа качается и отступает назад.

— Сеня, он не пойдет, — наконец доходит до меня.

— Че ты, бля, гундосишь? — поворачивается он ко мне. — Тебя че, успели уже ужалить? Кстати...

С этими словами Сантьяго перекладывает пистолет под мышку и тянется в карман. Зип с размокшими таблетками появляется в его руке.

— Нат-ка, заберите ваше хулайлу!

Он бросает пакетик в толпу. Желтые хором охают.

— Все, пошли, братва. Нам еще возвращаться уйму времени.

— Сеня, он не пойдет, — еще раз говорю я.

— Нат, клади дудку, пошли! — тыкая в народ пистолетом кричит Сантьяго.

Нат смотрит на трубу, смотрит вокруг, смотрит на Сантьяго.

— Я не пойду.

Толпа вокруг вдруг начинает гудеть: «Ж-ж-ж-о-о-о».

— Завалите! — кричит на них Сантьяго и снова тыкает в них дулом. — Нат, пошли, если понравилась дудка, забирай с собой! Вообще, бери, все что хочешь, я разрешаю.

— Я остаюсь, — спокойно говорит Нат.

Толпа опять гудит. Сантьяго разъяренно трясет пушкой, но на этот раз они не реагируют, они закрыли глаза.

— Нат! — кричит опять Сантьяго.

— Я остаюсь здесь, — говорит Нат тише.

Он смотрит на нас и, как всегда, улыбается. Тихо и степенно. Толпа замолкает.

В наступившей тишине звучит глухой бас. Звук нарастает, к нему подключается пронзительный, визгливый перезвон. Нат вдруг хмурится, прислушивается и тут же хлопает себя по причинному месту. Он опускает руку в штаны, прямо к хозяйству, и достает оттуда сотовый телефон, внимательно изучает экранчик, затем нажимает на кнопку и прикладывает телефон к уху:

— Да, алло.

В трубке кто-то бубнит.

— Гуляю с ребятами.

Чайничек тихо поворачивается и спрашивает у кого-то в толпе: «Вы же его досматривали!»

— Нет, не смогу в магазин сходить. Слушай, я уже никуда сегодня не пойду.

В трубке опять бубнят.

— Никогда. Никогда не приду домой.

Звучит короткий вопрос с той стороны эфира.

— Ну так получилось. Пока, мам.

Нат сбрасывает вызов и снова улыбается.

— Ну все, друзья. Идите.

Сантьяго начинает пятиться к высоким воротам, я — за ним. Мы двигаемся медленно, будто по темноте.

Нат негромко произносит:

— Стой.

Он что-то ищет в карманах жилетки и наконец достает ключ, добытый у Тычинкина.

— Возьмите.

Он быстро подходит и вручает мне ключ. Толпа тем временем снова начинает тянуть «ж-ж-ж-о-о-о». Сантьяго рычит:

— Жопа. Жопа! — с этими словами он сует мне в руки бензонасос. — Держи-ка.

Он поднимает пушку вверх и что есть мочи орет:

— Да заткнитесь вы, говноеды!

Сантьяго, сжав зубы, несколько раз нажимает на курок. Оглушающие хлопки разлетаются в стороны, эхом отражаясь об сосны. В ушах от выстрелов противно звенит. Наконец, звук выстрелов сменяет тихий щелчок. Сантьяго снова нажимает на курок, но теперь выстрелов не слышно.

— Бежим теперь! — кричит Сантьяго. — Резче!

Мы бежим к забору. За нашими спинами слышится сначала осторожный, потом быстрый топот десятков ног.

Когда мы оказываемся за забором, топот смолкает. Мы осторожно, неуклюже пятимся по дороге. В левой я сжимаю ключ, в правой — тяжелый сизый бензонасос. Сантьяго все еще пытается добыть из пистолета огонь, но только тихие щелчки доносятся из-под курка.

— Побежали, — только говорит Сантьяго, как вдруг его сносит тяжелый желтый человек. Он выскакивает из-за мощной сосны и тут же валит Сеню на землю.

Моя рука с бензонасосом мгновенно поднимается и опускается на голову человеку. Я делаю это до тех пор, пока Сантьяго не вскакивает на ноги. Сложив руки, будто бы молясь, человек хватает тяжелую сталь насоса и тянет на себя.

— Бросай! — командует Сантьяго и разворачивается.

Я едва успеваю за ним. Через несколько мгновений мы оказываемся на вершине холма. Там получается оглянуться: возле ворот бывшего детского оздоровительного лагеря стоит желтый народ и злобно смотрит нам вслед. Один человек лежит на земле, держась за окровавленную голову. Мы разворачиваемся и бежим.

— Оставил его! — задыхаясь, кричу я Сантьяго.

Мне и самому непонятно, кого я имею в виду — Ната или бензонасос, который мне так и не удалось вырвать из желтых рук.

21:25

Деревья бросают длинные, темные, опасные тени. Кажется, что за каждой сосной кто-то есть, кто-то в желтом балахоне. Как назло, солнце в это время светит

особенно желтым. Но скоро мы привыкаем к этой мозговой игре, и Сантьяго решается выбросить пистолет со съехавшей вбок разлохмаченной пластиковой бутылкой. Мы уже не бежим, мы быстро шагаем по лесу, покачиваясь из стороны в сторону, как два матроса, не привыкшие после долгого плавания к неподвижности земной тверди.

От первого вдоха до первого по-настоящему важного решения на протяжении всего времени моего земного существования меня не покидает чувство внезапности, соседствующее с привычностью. Привычная внезапность, или, может быть, внезапная привычность. Что-то живое и умное, сама жизнь, если это не слишком громко и пафосно сказано, движется через меня и посредством меня. Но сам я не умею жить. Это, скорее, жизнь умеет жить, а я так — сбоку припеку. Как там греки называли любое умение? Техно? Вот, вот. Невыносимое техно бытия.

Карты открыты, ты только продолжаешь работать над их детализацией. Не осталось белых пятен, не осталось неизученного, но связь частей все еще недоступна для понимания. Лесничие не плуτούν в обширных лесных массивах, обходятся без компаса, достаточно чутья. Рыбаки знают, где берег, лесные озера больше не меняют своих очертаний. Все кажется изученным и понятным, но вряд ли ты отважишься назвать это место своим — ведь если лечь прямо здесь, трава не будет нежно обвивать твоё тело, не будет вплетаться в волосы и обвивать пальцы. Она прорастет напрямую сквозь тебя, забирая свое. Так, несмотря на изученность всех мест, мы здесь чужие.

И вот Сантьяго бросает свое оружие куда-то в заросли дикой малины. Мы делаем еще несколько шагов и выходим на небольшую делянку. Посреди нее стоит огромная вагон-цистерна, из-за которой вьется небольшой дымок. Мы осторожно обходим цистерну и видим такую картину: в центре полянки горит небольшой костер, над пламенем висит котелок. Возле очага сидит косматый мужичишка, одетый в брезентовый костюм сварщика и японские деревянные сандалии гэта. У мужичишки спокойное, сосредоточенное рабоче-крестьянское лицо. Глаза у него сначала закрыты, но услышав шорох наших шагов, он тут же поднимает веки, смотрит на нас, махом вскакивает и бежит к цистерне. В ней открывается небольшая дверка — та самая, которую мы еще недавно не могли открыть. Мужичишка пропадает во чреве жилища буквально на несколько мгновений, потом вновь высовывается. В руках у него — спортивный арбалет небольших размеров. Тетива угрожающе натянута.

Мы автоматически поднимаем руки вверх. Мужичок резво выкрикивает:

— Я говорил вашей матке, чтобы никто из вас, сатанинских выблядков, сюда не хаживал!

Сантьяго оглядывает меня, на секунду задумывается, потом устало проводит рукой по лицу с мучительным «бля-я-я». Затем он смотрит на мужичишку и медленно отвечает:

— Простите, уважаемый! Мы просто проходили мимо. Нам вообще домой бы попасть. А мой друг... вы не смотрите на него. Дело в том, что...

— Сантьяго, завали, — говорю, потом вздыхаю и обращаюсь к мужичишке: — Слушайте, у нас был очень трудный день. Меня чуть не убила эта кучка сумасшедших. Если хотите, можете это сделать за них, только вложите стрелу в арбалет.

Мужичишка смотрит на свое оружие, затем говорит одними губами «бля» и наконец опускает арбалет. Там действительно нет и не было стрелы.

Мужичишка смотрит на нас и сильно хмурится, будто прицениваясь.

— Если вас очень смущает, он может снять балахон, — тараторит Сантьяго. — Только под ним ничего нет. Совсем. Если вы дадите ему одежду или хотя бы средство от комаров, то...

Мужичишка перекладывает арбалет в другую руку и, перебивая Сантьяго, спрашивает меня:

— Ну-ка скажи: «Ехал грека через реку, видит грека — в реке рак».

Я вдруг оглядываюсь по сторонам, будто бы мужичишка сказал это кому-то

другому. Сантьяго нервно выдыхает, мужичишка испытующе смотрит на меня из-за арбалета.

— Вы это мне? — осторожно спрашиваю у хозяина цистерны.

— Не тупи, — рычит на меня Сантьяго.

Я как могу повторяю скороговорку.

— Ну, можно было и бы получше. А ну-ка скажи: «Бык тупогуб, тупогубенький бычок...».

— У быка бела губа была тупа, — продолжаю.

Мужичишка задумчиво почесывает бороду.

— Хрущи хватают хвощи. Охапки хины хватает на щи.

С большим трудом и запинками повторяю прибаутку. Мужичишка щурится, внимательно в меня всматривается:

— Поработай над шипящими.

— Хорошо, — киваю я. — Ну так что? Пристрелите нас?

— Он — племянник Романа Фомича, — как заведенный молотит Сантьяго.

Мужичишка еще больше улыбается.

— Надолго? — уточняет он.

— Простите? — мотаю я головой.

— Ты все услышал, — с раздражением говорит мужичишка.

— Вроде бы... — смутившись, отвечаю.

— Так «вроде бы» или надолго? — строго спрашивает дядька, но арбалет свой не поднимает.

Я задумчиво подбираю ответ.

— Чего вы к ним вообще поперлись? — окидывает нас мужичишка не то насмешливым, не то гневным взглядом.

Сантьяго прокашливается.

— Да как, идем-идем, видим, забор. Хотели у добрых людей водички попросить попить.

— Водички, забор... Неужели непонятно, что добрые люди за заборами не прячутся?

Теперь уже Сантьяго в поиске лучших слов разглядывает свои кроссовки.

— Ладно, пошлите травушек попьем, — говорит мужичишка и исчезает в своем жилище. Мы заходим следом.

Я осматриваю длинную утробу цистерны. Успеваю заметить гусиные перья на вешалке, печку-буржуйку, вымпел «Участникам соревнований Голубой огонь-1984. Лучший кузнец», мусорное ведро, газовую горелку, водный бульбулятор, календарь на 2009 год с лицом нашего мэра, фигурку розового кота с опускающейся и поднимающейся правой лапой, большой телескоп, ловец снов с налипшими на него мухами, ситар, китайский мафон. На просторном столе напротив двери стоит печатная машинка «Москва» с листом бумаги в каретке. Уже исписанные листы лежат рядом аккуратной стопочкой.

Мы выходим на улицу, а мужичок выносит кипящий чайник, ставит его на низкий пенек и, поболтав там шепкой, приглашает нас к столу.

— Юлук, — говорит он из-под своей жидкой бороденки, наливая из чайника в кружки.

— Какой лук? — не понимаю я.

— Юлук горный. Трава такая, — отвечает он, кивая на кружку.

Молча мы делаем по глотку чая. Настой пахнет чем-то сырым и терпким. Я только делаю второй глоток, как вдруг мужичишка ставит свою кружку на землю.

— Провожу вас, — говорит он, отправляется в цистерну и выходит с арбалетом.

— Нам бы только до дороги, — уточняю я.

— Поздно. Машины не ходят. Пойдем туда, откуда пришли.

Мы шагаем по тропе уже в сумерках. Мужичок проворно бежит впереди, несмотря на то, что его гэта явно не созданы для лесных марафонов.

22:39

После стольких часов на природе ты уже не чувствуешь всего разнотравья в воздухе. Дышать — это так просто и естественно. И жить в лесу, и ходить по узким тропам.

Когда лес вдруг заканчивается, на секунду становится даже страшно: зачем столько пространства? Зачем столько неба? Мы смотрим с холма вниз, на огромную поляну, большую плешь, застроенную одинаковыми домами из красного кирпича. Кирпич поглощает последние алые лучи, отчего кажется, что дома мягкие, вельветовые, бархатные. От этого становится уютно. Вот ведь: пока ты тут валандаешься по лесам, вне себя от усталости и всей той фигни, что пришлось пережить, кому-то здорово и легко. Он обнимает своих детишек и женушку, смотрит что-нибудь по телеку и изредка поглядывает в окно, где тихо колышется лес. «Ах, как же здорово я устроился в своем доме!» — думает этот счастливый человек.

— Это чего, деревня? — поворачивается Сантьяго к нашему проводнику.

— Ага, закрытого типа, — говорит тот и спускается с холма.

Мы тоже идем, и шаг за шагом приближаясь к деревне, я чувствую, как домашнее тепло, которым меня обдало минуту назад, совсем не усиливается. В воздухе нет запаха дыма: неужели счастливый человек не затопил сегодня баню? Не кричат радостно дети: счастливый человек наказал их и запретил сегодня играть? Я делаю еще несколько шагов — и тревога окончательно сметает ту радость на холме.

Сантьяго смотрит на меня, а я на него. Но чей-то еще взгляд сверлит нас. Кто-то безмолвно смотрит за нами. И не парой живых глаз — а множеством пустых глазниц.

Сначала я замечаю кусок полиэтилена, торчащий из-под кровли одного дома и чуть трепещущийся на ветру. И из этого куска, будто из зловещей черной дыры, разворачивается весь ужас. Вся деревня, каждый ее дом — это нечто оставленное, брошенное навсегда.

Эти взгляды, сверлящие нас тиранично и навязчиво, — просто пустые окна десятков домов в этой деревне. Одна разбитая дорога. Ржавые ворота, покосившиеся крыши, капитально заросшие дурниной участки, осколки стекол, полиэтилен, строительный мусор, вполне нормальные детские качели. И пустые окна. Много пустых окон.

— Я ничего не понимаю. Объясните, что это? — наконец спрашиваю я, стараясь не смотреть в пустоту, которая прячется в каждом доме.

— История делится на две части: обычную и необычную. С какой начать? — отвечает мне мужичишка.

— Давайте со второй.

— Все люди из этой деревни пропали. То ли просто ушли, то ли их кто съел... Я склоняюсь к чему-то среднему.

— А первая часть истории?

— А в первой части истории разжившийся кто на чем в девяностые народец решил сделать коттеджный поселок закрытого типа в экологически чистом месте за городом. В складчину вырубил лес, проложили дорогу, заказали общий проект деревни, построили дома, зажили в них.

Громкий шорох прерывает рассказ нашего мужичишки. Мы резко оглядываемся, и стайка неизвестных мне птиц вылетает из глазницы дома.

— Это жутко, правда, — говорю я.

— Местные из Печек одно время таскали отсюда стройматериалы. Но чего-то больше не таскают. Хотя забор весь поносили.

Теперь глазницы сверлят наши затылки. Мы подходим к краю деревни.

— Вот, — говорит мужичишка, показывая на два столба слева и справа от дороги, — некогда это были ворота в рай. Теперь у этого рая даже забора нет. А какой же рай без забора?

23:28

Глаза отказываются видеть мощные, мохнатые лапы хвои, свисающие над нами в сумерках и прячущие небо, на которое кто-то медленно крошит крупные куски соли цвета ультрамарин. Светит месяц. Любой звук глохнет в густом воздухе — будто бы мы пребываем в той эре становления законов физики, когда материя еще не остыла от печки Большого взрыва и потому не способна издавать звонкие ноты.

В этой густоте фальшиво, негромко поет Сантьяго. Поет по-испански. Ниже привожу замечательный перевод этой блистательной кубинской песни. Перевод принадлежит не мне, а талантливому отечественному переводчику Александру Гаврилову, чей труд значительно позже всей этой истории я нашел в интернете, на личной странице Александра:

Здесь осталась светлая
Родная прозрачность
И твоё любимое присутствие
Команданте Че Гевара

Аккуратно, не обращая на фальшь Сантьяго, в воздухе разливается мелодичный шум — Ильменка уже за холмом.

— Приплыли. Вся Санта Клара уснула, — остановившись, говорит Сантьяго.

Поднимаясь на холм, я вдруг понимаю, каким тяжелым за этот день я стал. Никакой проворности. Усталость и нудная лень. Кора на соснах впереди вдруг освещается лиловым и тепло-янтарным, это на вершине холма редкие огни Печек встречают нас осторожным мерцанием. Справа виднеется уютный свет из окон дядюшки. Сантьяго садится, смотрит вперед и мычит:

— Приплыли.

Мы замолкаем. Ноги тянет, хочется жрать, но почему-то, по каким-то необъяснимым причинам, все же хорошо.

Вдруг неподалеку, слева, раздается мерный глухой шум — кажется, тарахтит двигатель. Из леса, по заросшей дороге, навстречу воде бодро выезжает «девятка» с мигалками и синими полосами по бокам. Машина двигается к отлогому берегу, потом поднабирает прыти и с гневным грохотом разрезает бампером воды Ильменки. Валит тяжелый дым, вода прыгает и пузырится, двигатель ревет отчаянно и остервенело. Вся Ильменка будто бы наваливается на нос машины, но та и не думает сбавлять ход. Тогда вода вздыхает и выдыхает, в один момент укрывая «девятку». Еще недолго я вижу фары, блекло, фосфорически светящие из-под воды.

Вновь устанавливается молчание, только тихо и мелодично шумит быстрина.

— Сядь, посидим. Че встал-то, как тесть на именинах? — говорит мне Сантьяго.

Я действительно стою, не в силах понять, что это за такой изощренный акт самоубийства только что произошел.

Сантьяго в изумительном спокойствии жует травинку. Вдруг река посередине вспучивается. Мы слышим выдох и жадный, хриплый вдох. На поверхности Ильменки показывается голова человека. Он плывет к тому берегу, преодолевая течение. В свете звезд и половинки луны я вижу, как человек доплывает до суши, качаясь, вылезает из воды, снимает всю одежду до трусов, оставляет ее на песке и уходит в темноту, туда, в поле.

— Говорю же, приплыли, — с какой-то поучительной интонацией произносит

Сантьяго. — А мы с тобой никуда не поплывем, ми амор амиго. Ты плот просохатил зачем-то.

— Сеня, что это было? — спрашиваю я, в недоумении глядя на воду.

— Да один знакомый.

— Что он сделал?

— Не видел, что ли? Плавал.

— Плавал?

— Ну конечно. И неплохо притом.

— Странно.

— Ничего странного. Просто решил человек поплавать.

Я достаю из кармана балахона цветастый шерстяной сокс размером с крупное яблоко. Щупать его приятно: что-то сухое и травяное заштопано в нем. Вещицу дал мне на прощание мужичишка, лесной обитатель бочки. Где он теперь? Шагает своими гэта по лесной тропе, возвращаясь в свой дом, гордо неся на плече незаряженный арбалет. Я думаю, что сейчас было бы неплохо попробовать содержимое сокса и уснуть прямо вот здесь, под звездами. Но курить не из чего, мы даже не сможем разжечь огонь. Можно, конечно, постучаться к дядюшке и попросить спичек и бумаги, но на сегодня приключений хватит.

Сокс перевязан шерстяной тесемочкой, к краю которой примотан бумажный свиток. Я срываю его и разворачиваю. Красивым убористым почерком — кажется, тушью — на листочке написано:

«К ВОПРОСУ О МЕТОДЕ.

ЗВЕРЬ ВНУТРИ ЯЗЫКА КАК СМЫСЛ СУЩЕСТВА МАШИНЫ».

Сантьяго заинтересованно смотрит на бумажку. Дальше шрифт не рукописный, а набранный на машинке. Я читаю вслух:

«Мы должны обновить наше видение тел. Секс, если правильно взглянуть на ситуацию, есть обновление тела, потому как мы сливаемся в Океанос и размыкаем иерархию и упорядоченность, конституциональное “где и зачем”. По-настоящему организм будет организмом тогда, когда целиком откажется от своей органичности. Когда он признает себя механизмом и выйдет из утробы природы. Или когда создаст механизм настолько же изящный, как организм. Не будет ли это тогда означать, что организм настолько изящен, что способен создать механизм как организм? Что, если мы сами себя бесконечно воссоздаем? Это сейчас человек хочет сконструировать машину, но скоро, очень скоро машина будет хотеть сконструировать человека. Рождение не из утробы? Машина будет думать: “О, ну почти похоже на меня”. И так далее. Вечное Возвращение, превращение. Перетекание.

Нет просто души и просто тела. Есть беспощадная органика обновления.

Не является ли критика прогресса очень прогрессивной и потому — скудной?

Это не идея разложения, но идея единения. Это не идея прогресса.

Вся проблема в том, что диалектику становления заменили на простой прогресс. Прогресс — это и есть мертвящая механика. Это механизированная диалектика, в которой отброшено самотворение вечно себя познающего духа. Но диалектика неполиткорректна. Идея эта тоталитарна, потому и может стать достоянием постгуманистических островков мышления. Все повторимо в своем неповторении, и все неповторимо в своем повторении. Вечное невозвращение — вот, скорее, как это называется. Все неповторимо в частичном проявлении этого становления, в строгом повторении неповторяемого. Короче, никогда ничего не повторится. И даже вы. Вот испытание. А не Вечное Возвращение.

И еще: если ты открываешь в себе способности к потоку, не думай, что это нечто священное само по себе. Поток либо есть, либо нет. Река либо течет, либо не течет. И вообще — непонятно еще, что лучше, уметь расколдовывать или уметь заколдовывать. При следующем своем эстетическом опыте подумай об этом хорошенько.

Мы по-настоящему любим стареть, прокуривая легкие. Никогда ничего не будет. Ведь может быть только то, что уже будет. А такого не будет.

Создавайте машины.

Я понятно изъясняюсь?..»

Вдалеке, на том берегу, снова шумит мотор. Две прямоугольные фары режут атлас тьмы и быстро приближаются к нам. Когда свет падает на воду и машина подъезжает к самому берегу, мы узнаем знакомый нам автомобиль. Открывается дверь. Из салона доносится Джордж Майкл. Высовывается здоровая, лохматая голова с бородой. Красавец Гера.

— Хо! — кричит он и машет руками, чтобы мы не сомневались больше.

Гера суется в багажник, немного ковыряется там и выносит на берег огромную массу чего-то тяжелого. Он кидает массу на песок. Будто огромный носовой платок, который давно не меняли, лежит это нечто возле самой кромки берега. Гера снова бежит до багажника, потом шевелит массу, выпрямляется и начинает делать нелепые движения всем телом. Каждая фаза движения сопровождается уморительным писком, будто кто-то давно не может вылечить гайморит и одной ноздрей пиликает во сне. Масса на песке подергивается и шевелится, обретая формы.

— Ну ты даешь! Гера, амиго, ну красавец! — кричит Сантьяго, вскакивает и бежит к берегу.

К моменту, когда мы добираемся до воды, гигантский носовой платок на том берегу уже почти полностью разворачивается и надувается.

— Оу! — кричит Гера и машет руками, при этом продолжая раскачиваться на одной ноге.

Под ногами Геры постепенно набухает средних размеров лодка. Гера спускает ее на воду, но вдруг одумывается, снова бежит до багажника, приносит весла и длинный кусок веревки. Он быстро привязывает веревку одним концом к ушку на носу лодки, а другим — накидывает ее поверх единственного стального троса, соединяющего берега Ильменки.

Наконец Гера садится в лодку и радостно гребет к нам. Свет «жигулей» отражается от воды. И я вижу: на носу шлюпки, ближе к носу, белой краской, ухабистым, кривым почерком выведено: «Бригантина “ПРОВОРНАЯ”».

23:55

Снова на этом берегу

— Ничего хорошего здесь нет. Ничего.

Сантьяго курил Герины папиросы и смотрел сквозь приоткрытое окошко «жигулей», как горят и полыхают на западной стороне неба звезды. На торпедке, рядом с пачкой «Беломора» был уложен ключ от затерянного в складках судьбы бензонасоса. Нежно шептал в колонках Джордж Майкл. Мы мчали по трассе.

Сантьяго опять что-то скулил, замолкал, как во сне стряхивая пепел себе на штаны. Я никогда не видел, чтобы он был таким медлительным и чтобы он так долго и тяжело думал. Гера рулил и смотрел на мелькающую полустертую разделительную полосу.

— М... — выдохнул он.

Сантьяго отмер и вопросительно посмотрел на Геру.

— Что, Гера, есть что добавить?

Гера нахмурился и вдруг ответил:

— Да ничего, Сеня. Уймись. По-моему, у вас был шикарный день. Чтобы это понять, просто попробуй, ну я не знаю, заткнуться, что ли? Вы сделали все, что могли, а это уже неплохо. Как же ты иногда меня бесишь, давно хотел тебе сказать!

— Да я просто, как бы это. Думал, что так не бывает. Ну просто....

— Че просто? Просто уймись и помолчи. Когда же ты станешь человеком?

— Я уже. Вот сегодня, например...

— Ну и молодец, че еще сказать? Если ты рад этому событию — то умеи радоваться молча. А если огорчен — то попереживай с закрытым ртом. Всегда сможешь обратно расчеловечиться, если захочешь.

Гера отвернулся, прибавил Джорджа Майкла, а затем поддал газу. Я сидел и пытался вспомнить, когда в последний раз слышал Герин голос. Я думал, что бедный Сантьяго ведь не понимает, что дело тут совсем не в бензонасосе. И даже не в рейве. Не в упущенной выгоде. А в чем же дело? Мы медленно въехали в город и покатались по пустым, душным улицам. Вскоре Гера задумчиво свернул за гаражный кооператив, и мы снова оказались в лесу.

Гера сбавил ход, и машина недовольно затряслась по неровной дороге. Навстречу нам, в свете фар, на обочинах стали вырисовываться силуэты людей. Парни и девушки, ежась в своих кофтах и худи, обмотанные покрывалами, тряпками, шли с пустеющей поляны в город. Грустные, словно травоядные и добрые зомби, они плелись друг за другом маленькими компаниями. У девушек на тонких запястьях бесшумно блестели браслеты. Никакой музыки не было, никакой музыки не будет. Не будет ни Солнцестояния, ни рейва, ни экстаза, ни пота, ни слез. Саундсистема сегодня молчит. Впереди только огромное скучное лето на краю новой эпохи. Без права на реабилитацию. Лето на тектоническом разломе — бесконечное и безжалостное.

Впереди мелькнул тоненький ручеек, который уже скоро, с первыми лучами, будет облеплен васильковыми матовыми лоскутами с белой окантовкой.

— Гера, останови, — сказал я.

— М? — буркнул тот, нахмурившись. Видимо, вспомнил крылышко в пачке «Беломора».

— Пить хочу, останови.

Компания ребят перепрыгивала через ручей, когда я вышел и двинулся немного вверх по течению, туда, где русло было чуть шире. Я сел на колени и наклонился к воде, в которой бликовали фары и немного — звезды. Ледяная вода дотронулась до моих губ, я стал пить. Стоя так на коленях, будто делая намаз, я втягивал воду короткими глотками, закрыв глаза, потом посмотрел на гладь и тут же заметил матовый лепесток, медленно плывущий вниз по течению. Лепесток тихо поворачивался вокруг себя и убежал дальше, набирая скорость. Я встал с колен и пошел по берегу вниз, к броду, пытаясь дождаться, когда крылышко приблизится ко мне настолько, чтобы я мог его схватить.

Но оно все плыло, набирая скорость, вальсируя на поверхности. И вдруг что-то его остановило, крылышко затанцевало и закрутилось на одном месте. Я подошел поближе и протянул ладонь. На дне, в массе песка, что-то блеснуло красным. Небольших размеров металлический цилиндр торчал в песке на дне ручья. Я схватил его и без труда поднял — массивная деталь, омытая в родниковой воде, с налипшим на нее песком лежала в моих руках. «РУМ-1» — значилось у нее на латунно-красном боку.

22 июня
00:20

- Ты меня не нашла?
- Я тебя не искала, если честно.

Если стоять на опушке леса, прямо за которым играет во всю мощь техно, то можно сойти с ума от количества хаотичной реверберации. Звуки отражаются от тысячи сосен и возвращаются к тебе уже совсем другими — преобразованными, будто тысячи экспериментальных электронщиков предложили свое видение трека. Если следить за каждым — то можно просто двинуть с ума.

- Прости.
- Да нет, ничего. Забот сегодня хватало.

Хотелось закурить, это подошло бы к ситуации. Ну, стоим, разговариваем с ней, и я такой задумчиво курю в ночи, под россыпью звезд на ультрамариновом небе, которое пытается реанимировать мое сплющенное от любви и страсти сердце. Но сигарет нету, я просто шелкаю зажигалкой. Да и будем честны, сердце у меня от любви не плющится. Оно вообще не плющится.

- Так куда ты уезжаешь?
- Я давно хотела тебе сказать. В Сочи. Послезавтра.
- В Сочи?
- Ну да.
- Надолго?
- Наверное. Сначала хотела до конца лета, но потом подумала остаться.

Я шелкнул зажигалкой и зачем-то спросил:

- Там скоро будет олимпиада, да?
- Вроде бы. Но это неважно. Там какой-то детский врач лечит детей с аутизмом.
- Детский врач?
- Знаешь, наш разговор напоминает мне разговор двух аутистов. Не думаешь?
- Есть что-то похожее, мне судить трудно. Ты повезешь брата к этому врачу?
- Да. И сама хочу у него поработать. Врач ищет волонтеров. Возможно, потом устроюсь к нему ассистенткой. Знаешь, в этих делах много шарлатанов. Аутизм ведь не лечится.

- Как и многое.
- Ладно, я пойду.
- И я пойду. Классное платье. Ты его сегодня купила?

— Спасибо. Да. На распродаже. А у тебя классный балахон. Под ним ведь ничего нет?

Я зачем-то оттянул краешек желтой одежды и улыбнулся.

Иногда я вспоминаю коллажи ее брата-аутиста, разбросанные по полу. Иногда мне кажется, что все так и повторится. И завтра, встав с утра, я не обращаю внимания на то, что прошло столько времени, что одна за другой родились и умерли миллионы эпох — так техно в сосновом лесу рождается в диффузорах саундсистемы, затем деревья дробят его на бесчисленное количество своих версий, а потом все это улетает бесследно в небо, целебно укрывающее лето. И я подниму трубку городского телефона, наберу ее номер и скажу: после того, как ты повесишь трубку, поставь песню Born Slippy, слушай внимательно.

А потом ее органы в один момент лопнут.

Поймете ли?

2019
Челябинск—Москва